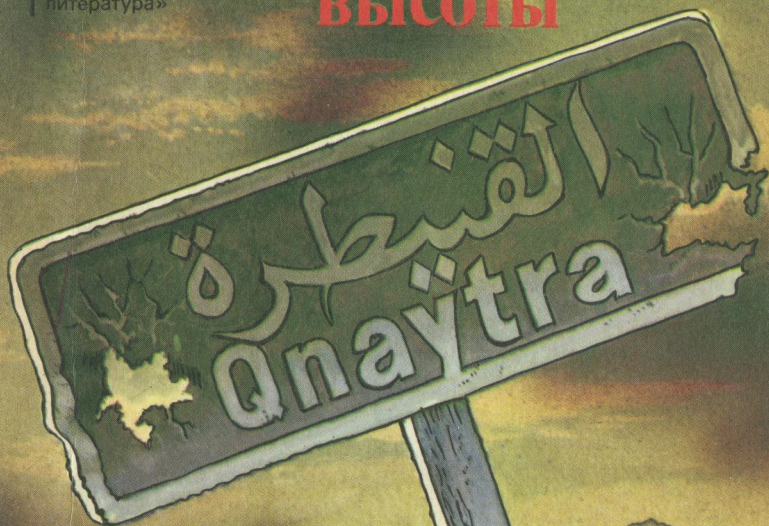


Али Окля Орсан

Библиотека
журнала
«Иностранная
литература»

Голанские ВЫСОТЫ





Библиотека
журнала
«Иностранная
литература»

عبدالله بن عمر
صخرة الجولان

Али Окля Орсан

Голанские высоты

Повесть

*Перевод с арабского
Э. Али-заде и В. Шагаля*

*Предисловие
С. Кузьмина*

Москва
«Известия»
1985

И (Сир)
070

Главный редактор Н. Т. Федоренко

Рецензент Л. Тхоржевский

Обложка художника Н. Ящука

© Оформление, предисловие, перевод на
русский язык издательство «Известия»,
журнал «Иностранная литература», 1985

Мощь Голанских скал

Есть книги о войне, написанные на эмоциональном взлете, по горячим следам боев. И пусть зачастую им не хватает той масштабности и глубины, которая дается, как принято считать, определенной исторической «дистанцией», переосмыслением событий и фактов,— именно эти книги первыми доносят до нас обжигающее дыхание войны, героизму подвига, острую боль человеческих трагедий и утрат.

Именно такова повесть сирийского писателя Али Окля Орсана «Голанские высоты». Да, без малого двадцать лет прошло с того зловещего лета, когда в шестьдесят седьмом израильские агрессоры, вероломно напав на соседние арабские страны, захватили принадлежащие Сирии Голанские высоты. Но и сегодня название их для нас, советских людей, для всех честных людей на земле звучит как напоминание о поправленной сионистскими агрессорами справедливости, как символ мужества тех, кто в неравном бою дрался на склонах Голанов, грудью заслоняя их от врага.

И потому символичен и образ сирийского солдата Мухаммеда аль-Масуда, сражавшегося, раненного и взятого в плен израильскими захватчиками на Голанских высотах. Стойкость и мужество Мухаммеда, который под страшными, изощренными пытками в израильских застенках не выдал военной тайны врагу, не запятнал своей солдатской чести и человеческого достоинства, по собственному его признанию, как бы уходят корнями в вековую, неколебимую мощь Голанских скал. Не случайно в видениях своих (подобный прием, добавим мы в скобках, традиционен для

арабской классики) Мухаммед очеловечивает скалу, возле которой сражался, слышит ее голос... Голос этот сливается в его сознании с голосами жены и детей, родителей, земляков, однополчан. Это — зов родины, голос родной земли Мухаммеда, которой он и его предки отдали столько сил и трудов. В мечтах своих Мухаммед видит свое отечество вольным, счастливым и радостным. И мы вместе с ним верим: земля его родины, прекрасной и древней Сирии, все захваченные врагом арабские земли будут свободны до последнего дома и поля, до последней пяди. Порукой тому — освобождение от захватчиков части сирийской территории в результате кровопролитных боев семьдесят третьего года. Правое дело арабов восторжествует; политика агрессии, террора и лицемерия, проводимая Израилем и Соединенными Штатами, обречена на бесславное поражение.

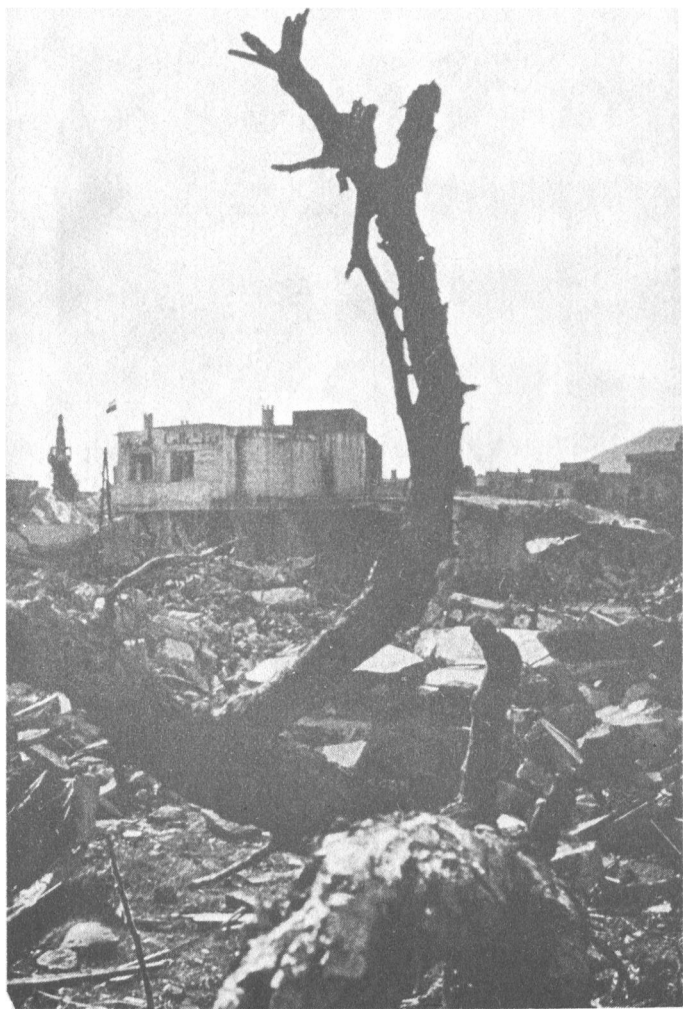
Мы верим, что канут в прошлое нужда, бесправие, беды, против которых борются прогрессивные патриотические силы Сирии.

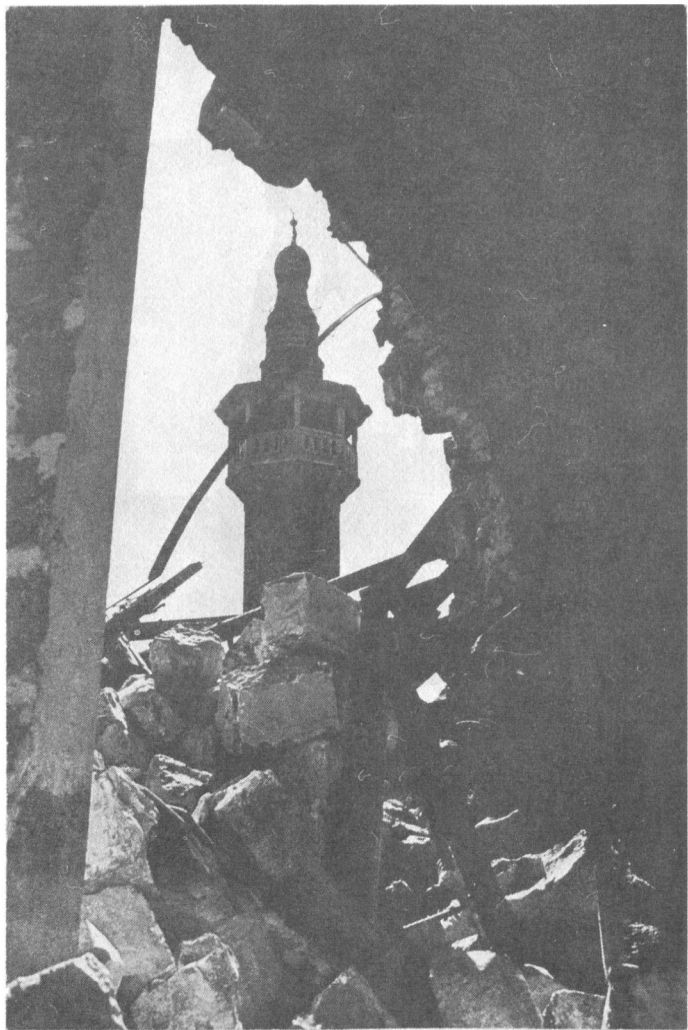
Сергей Кузьмин

*На этих фотографиях
развалины города Эль-Кунейтра,
расположенного у подножия
Голанских высот.
Таким увидели его сирийцы
после отступления
израильских захватчиков.*

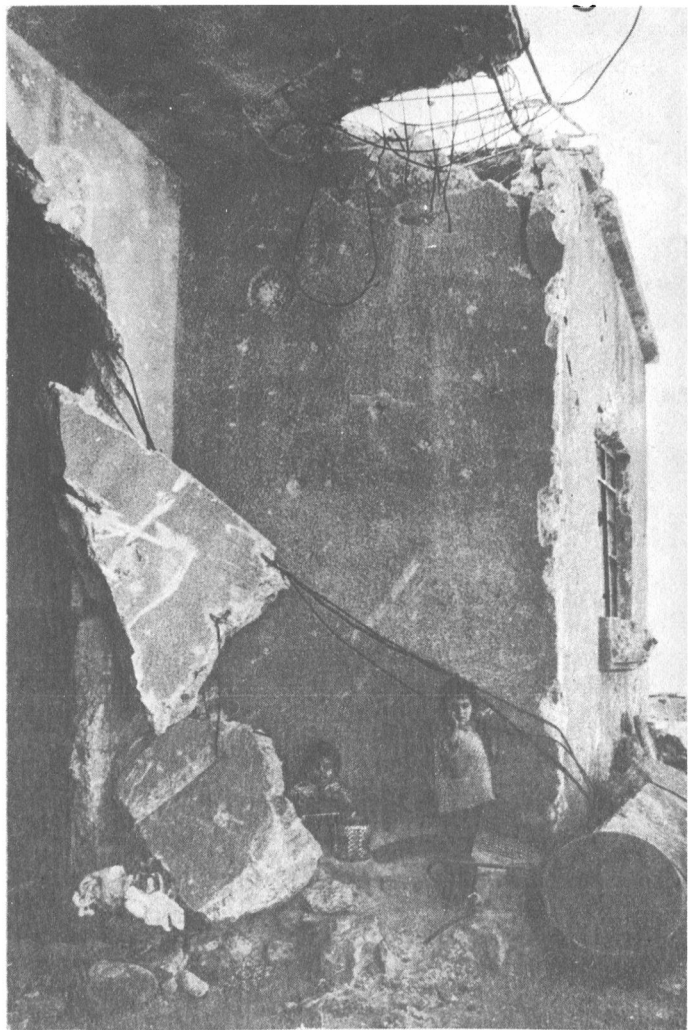




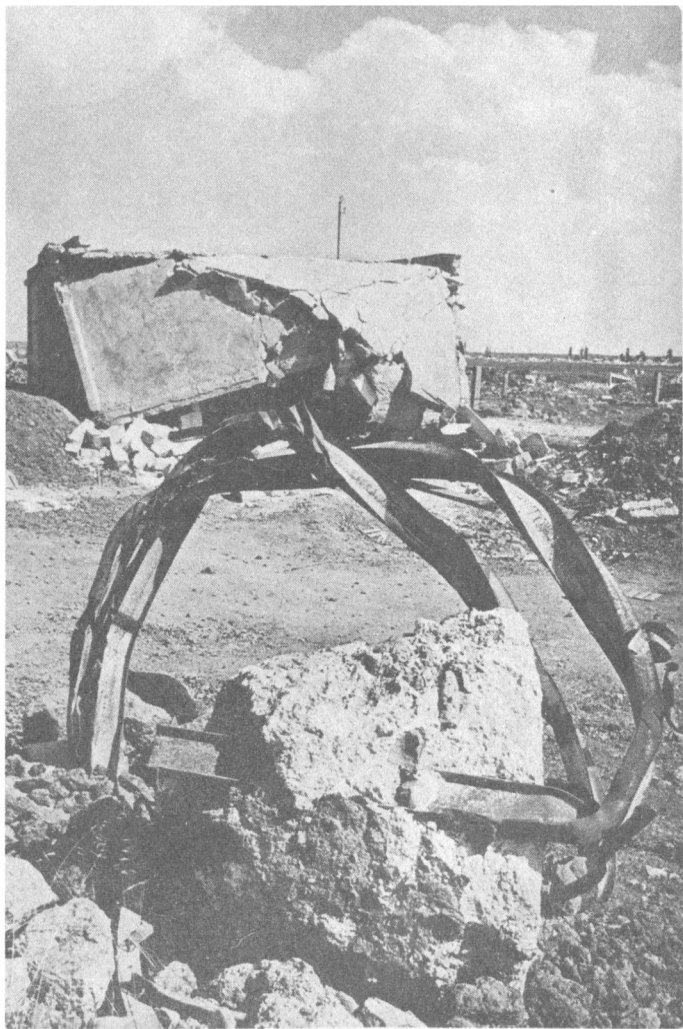


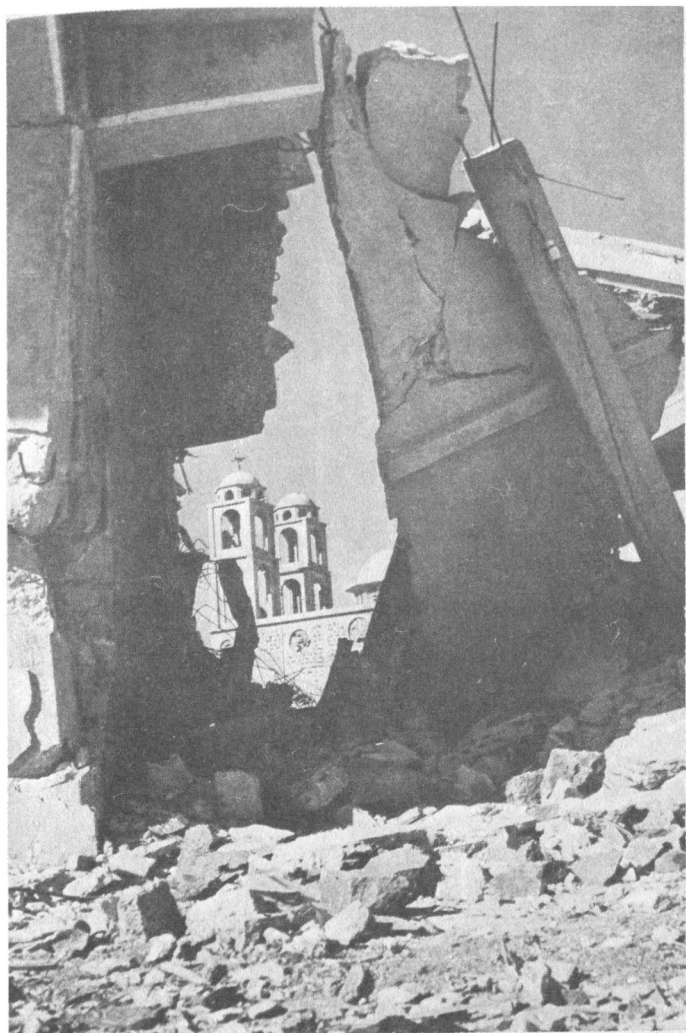


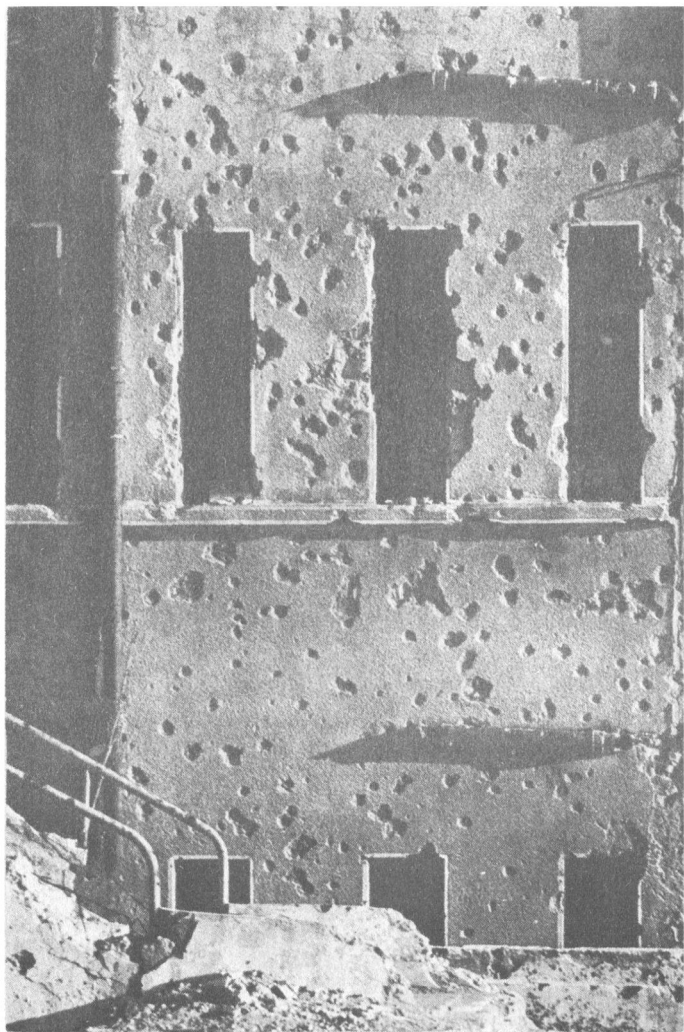












Голанские высоты

Повесть

I

Я стою на склоне горы. Мне все здесь знакомо и дорого, как может быть дорога человеку земля, на которой он прожил многие годы и состарился. Стою и смотрю на восток. Я привык бывать здесь, отсюда, с горы, открывалась мне сама жизнь. Деревни и пашни простираются предо мной как живое раненое существо. Далекий горизонт пробуждает в душе воспоминания и воссоздает картины недавнего прошлого — того мира, в котором я жил.

Я оставил Зейнаб и троих детей в каменном доме. Его стены, сложенные из черных камней, нагроможденных друг на друга, походили на морщинистую кожу старика, как держались они — одному богу известно: каждый камень упирался острыми гранями, словно локтями, в бока соседей, иные так выделялись среди прочих, будто желали вырваться из этого силком навязанного соседства. Угрюмое обличье камней говорило о горестях живших среди них людей. Не знаю, что связывает эти камни и не дает им обрушиться, быть может, та самая сила, которая объединяет общество и не дает ему распасться. Теснящиеся вокруг моего жилища другие дома тоже сложены из черных камней — непрочные, недолговечные строения. Одной небольшой бомбы хватило бы, чтобы их разрушить, и тяжкие черные глыбы стерли бы обитателей этих домов в порошок. Вспоминая о доме, вселявшем в меня раньше безмятежность, уверенность, дарившем покой и радость, я невольно пытаюсь провести грань между самым домом и чувствами, связавшими меня с ним, и замечаю: нет, теперь уже он

возбуждает во мне беспокойство и тревогу. И одного этого достаточно, чтобы породить во мне неуверенность.

Прощаясь со мной в то апрельское утро, Зейнаб сказала: «Пиши нам и береги себя. За нас не бойся, будем жить не хуже соседей. Как вся деревня — так и мы. И с детьми все обойдется. Я буду работать в поле у твоего дяди Джабира, пока не соберем урожай, вот и запасем хлеб на зиму».

Не знаю, как я тогда совладал с собой, как сдержался. Почему не разорвалось мое сердце. Я смотрел на нее, тайком глотая слезы. Моя мужская гордость рухнула к ее ногам, как дерево, поваленное ураганом. У меня не было ни единого кирша*, чтобы оставить им, поддержать, уберечь от голода. Мы не имели даже клочка земли, ничего, кроме трудолюбия и усердия, — они-то и принесли нам этот дом, единственное наше достояние. Я посмотрел ей в лицо, с горечью встретив ее кроткий прощальный взгляд. И, сдерживая слезы и рвущиеся из груди вздохи, сказал с нарочитой бодростью: «Положись во всем на волю Аллаха... Вот увидишь, пройдут считанные дни, и я буду снова с вами». Хотя, по правде говоря, ни я, ни она вовсе не были уверены в этом. Да и вообще, вернусь ли я? И когда? Мое отсутствие может продлиться и год, и два, и больше... Резервисты, призванные на службу раньше меня, еще не демобилизовались.

Попрощавшись с женой, я шагнул к дверям. Торчавшие из пола камни били меня по ногам, дыбились и качались на моем пути, их распирала немота, они хотели что-то сказать мне и не могли. Но я не ощущал их свирепых ударов. Боль перестала существовать.

Зейнаб, вскрикнув, схватила меня за руку: «Ради бога, осторожнее! Смотри под ноги, не оступись...»

Мне вспомнилась моя покойная мать. Когда я ребенком играл с камнями и возился в песке, она глядела на меня — печаль и жалость сочились из ее глаз — и гово-

* Кирш — пиастр, мелкая монета; сотая часть лиры, денежной единицы Сирии.

рила: «Сын мой, береги себя. Бездушные камни тебя не поймут, не пожалеют. Они ушибут тебя, а с ними самими ничего не случится...»

Мама уже давно лежала в могиле, но теперь я мысленно отвечал ей: «Нет, это добрые камни, мама. Самые добрые на свете, они защищают детей от дождя и от зноя, разделяют со мной мои повседневные заботы...» Увы, ответ мой не достигнет ее могилы, ставшей прибежищем термитов. Я хорошо помню мамину могилу. Когда в последний раз несколько лет назад я посетил ее, рядом с нею чернела яма, а на дне ямы копошился крохотный грязный червяк... Страшно было подумать, что этот червь ползал по ее телу. А может, эта омерзительная тварь — частица материнской плоти? Живая частица, ползущая по земле.

От видений прошлого повеяло наивной прелестью детства, они мелькнули, как падучая звезда, вспыхнули и погасли, а я все гляжу и гляжу на восток со склона горы аш-Шейх...

— Мухаммед! — раздался вдруг голос моего друга Низара. — Что ты стоишь как столб? Лезь-ка в окоп.

Вздрогнув, я стянул с себя оцепенение. Все вокруг было другим. Сам я стоял среди серых скал и находился в досягаемости вражеского огня.

Я спрыгнул в окоп, и тотчас над головой просвистела шальная пуля. Громыкнули выстрелы.

— Ну, парень, жить тебе сто лет, — серьезно сказал Низар.

Я щелкнул затвором и засмеялся:

— Жизнь бедняков оберегает само небо.

Нажал на спусковой крючок, и грохот выстрелов заглушил мой смех.

Перестрелка с противником продолжалась вот уж который день. Горы гудели и грохотали. Сильный холод, пересеченная местность, осложнявшие боевую обстановку, не ослабили нашей решимости. У нас была ясная цель.

В редкие перерывы между боями выдавалось время подумать о моих односельчанах, об их житье-бытье,

о Зейнаб и о детях. Я всегда помню о ней. Вижу ее затемно идущей на жатву, как и все наши соседи. Вот она оставляет спящих детей дома одних (так приходится поступать многим) или поручает их чьим-то заботам, словно какую-то вещь. Она переносит их спящих — одного за другим — в соседний дом, их тельца безвольно лежат на тонких ее руках; она волей-неволей прерывает их сон, а потом снова укладывает в чужих стенах. Она оставляет детей и уходит, унося в своем сердце тревогу о них. А иной раз попросит старушку Умм Сулейман побыть с детьми. «Умм Сулейман,— говорит она.— Да смилостивится над тобой Аллах и да воздаст он тебе за отзывчивость твою и доброту».

Сердце Умм Сулейман смягчается, и она, с трудом выйдя из дома, тащится, опираясь на палку, кряхтя и охая, покуда не обопрется тощим своим телом на дверной косяк нашего унылого, скудного жилища. Янтарные четки с шеи старухи свисают до пола. Она, переведя дух, с трудом садится.

Я вижу детей спящими. Зейд с его медового цвета глазами, мягким лицом и прямыми черными волосами. Он спит, прильнув щекой к любимой своей игрушке. Проснется — и все его заботы только о ней. В этом году он пойдет в школу, если, конечно, ему суждено выжить. А я, его отец,— посчастливится ли мне вернуться? Все мое существо воспротивилось этим мрачным мыслям. Почему же ему не жить?! Отчего бы мне не вернуться?! Стоит мне приободриться, и уныние начинает слабеть, отступает перед верой в жизнь. Улыбка, одолевая робость и страх, подбирается к губам.

В глубине души теплится светлый огонек надежды. Нет, мой сын Зейд будет учиться. Он и сам еще станет учителем или чиновником. А там, глядишь, выйдет в большие люди. Достигнет высоких постов и почестей и будет гордиться отцом, сражавшимся за свободу. Нет, это я — я буду гордиться им. А если... О, это «если»! Все мои радужные мечты, все отрадные мысли словно застывают на бегу у

края зияющей бездны. А если... Ведь и школа потребует новых расходов, за обучение надо платить, мальчику нечего надеть. Ему нужны... Господи, сколько же всего ему нужно!

Я чувствую, как улыбка тает на губах, исчезает куда-то. Я весь сжимаюсь, съеживаюсь, леденящая кровь тоска растекается по жилам, холод сковывает движения, умирляет страсти, всего лишь мгновение назад бушевавшие во мне.

Голова клонится долу, мир вокруг меня обретает реальные очертания. Я считаю: Зейду нужны одежда, учебники, тетради, нужны деньги, чтоб записаться в школу... Но Зейнаб не может дать ему все это — у нее ничего нет; того, что она зарабатывает, едва хватает на хлеб. А ведь младшеньким нашим, Саиду и Фатиме, надо еще самое меньшее пять киршей на день или хотя бы на два, чтоб не точила их детская ревность и зависть, комом подкапывающая к горлу, едва заметят обновки у других ребятишек.

Унижение, с которым они глядят на своих сверстников, надламывает моих детей, как хрупкие ветки, они считают себя хуже других. Ощущение собственной неполноценности не оставит их до конца жизни. Разве сам я не испытываю точно такое же чувство здесь, среди солдат? Ведь кое-кто из них вырос в «хорошем обществе», среди непотревоженного достоинства и полного благополучия. А я... Я снова и снова чувствую старые обиды, как в детстве сжимающие горло, и борюсь с тяжестью, пригибающей меня к земле всякий раз, когда мне приходится обращаться к кому-нибудь из них или высказаться в их присутствии.

Бедная Зейнаб... Увы, со мной не довелось ей вкусить счастья. Она не видала ни единого светлого дня. Со времени нашей женитьбы мы в вечной нужде. Мы вроде бежим изо всех сил, а лепешка катится впереди нас, и мы никак не можем ее догнать. Теперь я покинул Зейнаб, а цены растут не по дням, а по часам. И ей не на кого положиться, не у кого взять в долг, не к кому обратиться за помощью. Я не знаю, чем могу ей помочь.

Кажется, я снова вижу ее перед собой. Вот она под вечер

возвращается с жатвы. Платье ее потемнело от пота, в пышных волосах пыль и грязь; она вся в пыли, с головы до ног, ее милые черты едва проглядывают сквозь толстый слой пыли. Она источает запах вселенского горя. Смертельно усталая, входит она в дом после изнурительных трудов под палящим солнцем и не находит даже кусочка свежего хлеба. Перед нею трое малышей. Как птенцы в гнезде, они вытянули свои шеи, разинули клювы, оживленно чирикают при ее появлении. Они бледны от голода, хотят есть. Еда! Зейнаб смотрит на голодных малышей, ищущих в ее глазах ответа на свою мольбу о еде. Но она, их мать, не в состоянии откликнуться на эту просьбу, ей нечего сказать, и она, пытаясь утешить детей, отводит полные слез глаза.

«Зейд,— говорит она.— Я принесла тебе «невесту»... Нет ничего лучше, вкуснее ее». И мать протягивает сыну вылепленную из хлеба девушку-лепешку на растительном масле. «Я хочу масла и сахара, мама».—«Невеста» лучше и масла, и сахара, Зейд, любимый мой. Каждому по одной. Каждому по «невесте». И чуточку масла».

Она лепит «невесту» из хлеба, намазывает фигурку маслом... старается скрыть, как ей тяжело. Сахар дорог, разве его купишь! Аллах подал им на сей раз пищу, утешил их, и они замолчали. А Зейнаб принимается за уборку. Ей надо отвлечься, не видеть, как дети набрасываются на зачерствелые лепешки. За работой она думает, как бы и завтра прокормить малышей, будто не было позади тяжелого, изнурительного дня и ей самой не нужен отдых.

Мы словно не расставались, и я продолжаю беседовать с ней.

«Зейнаб,— говорю я,— пойди в лавку нашего соседа Ахмеда аль-Хасана и попроси у него все что нужно. Дети не должны страдать».—«Он ничего не даст нам... Мы ведь не можем заплатить старый долг».—«Скажи ему: Мухаммед вернется, и мы все возвратим с лихвой».—«Он не согласится. Думаешь, он не знает, что ты новобранец и сам нуждаешься в деньгах? Все это знают, Мухаммед. Все, кроме наших малышей. Я лгу им, говорю: вот увидите, отец вер-

нется к празднику жертвоприношений*, принесет вам обновки и сласти и каждому даст пол-лиры на игрушки. Дети радуются, глазенки блестят, они ждут, мечтают, надеются. А меня душат слезы, слова вымолвить не могу. Тогда я начинаю смеяться. Смеюсь и чувствую: вроде оно и на смех не похоже; да что поделаешь — лишь бы не омрачить их радость. Боюсь только, праздник наступит, а ты, Мухаммед, не вернешься». — «Нет, Зейнаб. Не говори так. Я вернусь, вернусь непременно. Я ведь служу на самой границе. Но... Но сердце мое с вами. Я не расстанусь с вами ни на миг. Я всегда с вами». — «Мы знаем... знаем... Но и тебе известно — вернешься ты с пустыми руками, от этого никуда не деться. Лишь бы все кончилось благополучно... и ты вернулся, мы встретим тебя. Не беда, что с пустыми руками, мы все равно ждем и надеемся. Горька будет наша встреча. Но ты не думай об этом, Мухаммед. Возвращайся, остальное не важно. Твое возвращение — вот истинная радость».

«Остальное не важно...» — сказала она. Бедная Зейнаб! Не видала со мной светлого дня. Поженились, и я сразу уехал в Кувейт. Работал, работал — надо было отдать долги, в которые залез со сватовством да свадьбой. Выложил на женитьбу все, что успел накопить за целую жизнь. Так уж у нас водится. Холостяк обязан платить, словно после свадьбы ему с семьей ничего и не понадобится. Я отдал все. А женившись, оставил жену и уехал, чтоб прокормить ее. И решил: пока не обеспечу жену и детей, в деревню не вернусь. Трое моих детей родились без меня. Жена сообщила мне письмом о рождении сына. Тоска по Зейнаб, по новорожденному первенцу моему извела меня, я потратил все деньги на билет... и прилетел домой. Мне было и горько и радостно. А Зейнаб? Юное лицо ее тоже отметила печать горечи, морщинки пролегли на нем словно окопы, и не сгладили их моя улыбка и приветствия. Ах, отчего не удалось мне

* Праздник жертвоприношений (праздник жертвенных животных) — главный праздник мусульман. В этот день верующие мусульмане режут овец и ягнят. В ритуал праздника входят: специальная молитва, праздничная трапеза семьи, раздача мяса бедным, взаимные визиты к друзьям, обновление одежды и т. д.

рассеять грусть, затмившую ее лицо?.. Быть может, и на моем лице запечатлелось горе? Зейнаб улыбалась мне, улыбалась несмотря на нищенское свое существование, непомерные заботы и тяготы, словно страшное бремя заставлявшие ее погружаться все глубже в житейское болото. Ее улыбка говорила о борьбе, о надежде: нет, она не сдастся, не уступит, жизнь будет продолжаться. Бледное, но прекрасное лицо Зейнаб походило на оазис в пору весеннего возрождения — таким он является страждущему в пустыне. Голос Зейнаб оживлял оазис, наполнял его красотой жизни.

«Я многое пережила в твое отсутствие,— говорила она,— беременность, роды, тяготы жизни... тоску по тебе... Людские толки». — «При чем тут людские толки?» — «Ты разве знаешь... Молодая женщина в доме одна. Люди болтают все, что в голову приходит». — «Я вырву им языки! Кто смеет порочить мою жену?!» — «Никто. Сейчас никто ничего не говорит. Но когда-нибудь скажут... Я хочу, чтобы ты остался со мной. Мечтаю об этом день и ночь. Сохну, не знаю покоя. Я блуждаю среди бесплотных видений, и я боюсь. Признаюсь тебе: мне страшно. Я вечно в напряжении. Ложусь в постель, говорю: «Слава Аллаху, день прошел благополучно». Я боюсь ночи, страшусь даже во сне, вплоть до восхода солнца. Одиночество ужасно, особенно для такой, как я. Но все это мелочи, главное — ты. Наконец-то дела у тебя пошли на лад... Ты — вся моя жизнь, ты со мной, и мне больше не страшно».

Объятие соединило нас.

Я редко бывал рядом с Зейнаб и детьми, но дни, проведенные с семьей, стирали борозду разлуки... Когда Зейнаб забеременела, я вынужден был возвратиться в Кувейт на первой попутной машине. Тряский грузовик. Пустыня. Деньги кончились. Истекал срок моей визы, а тогда я не смогу вернуться в Кувейт. Я — иностранец в любой арабской стране, и получить новую визу чрезвычайно трудно. Надо, чтобы кто-то из кувейтских граждан объявил себя твоим опекуном, понятно, не даром, такому добродетелю платят самое мень-

шее пятьдесят динаров* — мое жалованье за несколько месяцев. Причем сумма эта кувейтца ни к чему не обязывает. Мы абсолютно неправы в их стране, покупающей за бесценок наш труд. Страна глухих и слепых: здесь не видят страждущего, не внимают его мольбе, не слышат его стонов. Но у нас, в Сирии, не найдешь работы... Хотя разлука с ней тяжела, как нескончаемая агония.

Хоть умри, о Мухаммед аль-Масуд, кому ты нужен?!

О чем же я? Да... я снова собрал вещи, простился с Зейнаб и с будущим малышом — он, появившись на свет, не увидит меня... Я возвращался в Кувейт, неся на плечах бремя разлуки, глотая подступавшие к горлу слезы, готовый снести любые муки и тоску на чужбине. И огонь Аллаха, извергаемый там самой землей. Я выдержу. Вытерплю все. И когда трудился в поте лица, я был спокоен, потому что ежемесячно посылал семье деньги. Ахмед аль-Хасан тоже успокаивался, получая их, и всякий раз приветливо улыбался, зная — с ним рассчитаются в конце месяца. Когда я вернулся из Кувейта после рождения дочери Фатимы, Зейнаб рассказала мне: однажды Ахмед аль-Хасан потребовал оплатить все долги. Я в тот раз немного запоздал с отсылкой денег — хлопотал, готовясь к отъезду. Когда я шел к лавочнику, земля содрогалась, ощущая мой гнев, я вошел к нему не поздоровавшись и положил на деревянный прилавок три золотые пластинки, каждая стоимостью в сто динаров. Трижды — одна за другой — звякнули о прилавок, а я сказал: «Давай рассчитаемся. Мухаммед аль-Масуд не просит милостыню и не забывает о своих долгах. Подай счет, Ахмед аль-Хасан».

Как он извинялся предо мной, как уверял: я, мол, его неправильно понял. В тот же день он прислал ко мне посылных. Хорошее было время. Я вышел от него с высоко поднятой головой. Легкий ветерок, принесший на своих крыльях покой, заставил меня забыть о жаре, о Кувейте и непосильном труде.

А теперь... Теперь у меня одно-единственное желание —

* Динар — основная денежная единица Кувейта.

слезно молить владельца лавки дать семье моей в долг немного сахара и чая, отнестись к ним терпимее, покуда Аллах не поможет нам. Нет, унижаться перед этим торгашом я не в силах. Все мое существо противится этому!.. Я невольно взмахнул рукой, отгоняя прочь нахлынувшие воспоминания, и вскрикнул от острой боли.

— Мухаммед, что с тобой? — спросил Низар.

Скала — я с маху ударил по ней рукой — была шершавая, вся в острых, как у пилы, зубьях. Она напоминала чем-то лицо моей матери. Казалось, и ее морщины — следы тоски и суровой судьбы. Мне чудилось, будто скала горюет вместе со мной и просит прощения за случившееся, показывая свои ссадины, раны и шрамы. Был ли это и впрямь ее голос — не знаю. Но мне послышались явственно чьи-то слова: «Прости меня, сын мой... Я не хотела причинить тебе боль. Нет, я старалась спасти тебя. И выполнила свой долг. Ты стоял, подставив грудь вражьей пуле. Я помешала ей. Это было в моих силах. Увы, я не всесильна и не могу помешать пуле вонзиться в мою плоть. Но ты, мой сын, обороняешь меня от врагов. Ты можешь шагать по моим уступам, укрываться в моих расселинах. Сердце мое полно любви и сострадания. Я не сумела, сын мой, предотвратить удар, удержать твою руку. Плоть моя, сам видишь, тверда, она причинила тебе боль. Прости же меня и помни: мы связаны воедино — ты и я, мы защищаем друг друга».

Я очнулся и пристально поглядел на скалу, изъязвленную пулями. Она спасла меня от пули, отразила ее, я заслонился каменной твердью. Но скала не жаловалась, не сетовала. Я снова посмотрел на нее. Коснулся ее здоровой рукой благоговейно — так прикасаются к матери, прежде чем ее поцеловать. Я повинился перед скалой, она улыбнулась в ответ, успокаиваясь и отходя душою. Чудеса! Ведь это всего-навсего камень. Зачем же я столь щедро наделяю человеческими чертами бездушную глыбу? Как знать, быть может, в наше время, когда все сущее растерзано и вывернуто наизнанку суесловием, само понятие человечности стало настолько отвлеченным, что люди, с их извечным стремле-

нием к непреходящим ценностям, способны очеловечить камень, вложить в него чисто людские движения души и мысли? О, если бы всем присуще было хоть какое-то воображение и ощущение неких уз вроде тех, что связали меня с этой скалой! Они бы не усомнились: да, скала говорит; и поняли бы — как понял я — ее речь... Но нет, мне не дано объяснить все это. Когда вам страдает не ваш собрат, не такой же, как вы, человек, истолкования, разъяснения почти невозможны. И все-таки я чувствовал, что обязан испросить прощенья у всего, что меня окружает, — живого и неживого. Я оборачиваюсь и говорю:

— Простите... Простите меня, если вас потревожили речи скалы, обращенные ко мне, или удручило мое восприятие этих слов. Здешняя земля и скалы добрее, душевнее всех живых тварей. Скала уловила мое стесненное дыхание, услышала мои жалобы, поняла, что творится со мной: ведь двери души моей для нее были распахнуты настежь. Скала не кривит душой, не лжет. Благодаря ей я ощутил некое сродство между сущностью бытия и человека...

Низар хватается меня за руку и спрашивает:

— О чем ты? Почему так уставился на скалу? Тебе больно?..

Мы с Низаром не очень-то отличаемся друг от друга. У нас схожие судьбы, мы нередко испытываем одни и те же ощущения. И смотрим на окружающую нас природу как на живое существо, которое, понимая и принимая наше бытие, относится к нам с благодушием и нежностью.

— Мухаммед, что с тобой? — повторяет он. — Что с тобой? Ответь!

А я все думаю, словно не слыша его голоса. Наконец я оборачиваюсь к нему, и всех его страхов как не бывало. Он-то подумал, что в меня угодила пуля: ведь враг притаился неподалеку от нашего укрытия и промахнулся оттуда трудно. Убедившись, что я невредим, Низар снова желает выяснить, в чем же дело:

— Что случилось, скажи мне?

— Да вот руку ушиб.

- Надеюсь, не поранил?
- Ничего страшного. У тебя есть сигарета?
- Сейчас принесу.

Его поглотили изгибы окопа, и он скрылся из глаз. Я понял: Низар отправился за куревом в соседний окоп — своих сигарет у него нет.

Противник усилил обстрел наших позиций. Когда Низар вернулся с сигаретой, я стрелял из пулемета по ползущей вдали бронемашине и не сразу заметил, что он здесь, рядом. Лишь услышав выстрелы, сообразил: это Низар вернулся и занят своим делом. Мы позабыли обо всем на свете. Для нас просто ничего не существовало, кроме врага. Его нужно было уничтожить раньше, чем он перебьет нас.

Я приободрился, когда вражеская пуля упала сверху прямо передо мной, — ее встретила грудью скала. Во мне поднялись и забродили силы. Нет, я больше не хилый росток на горном склоне! Я — камень, скала, вросшая в сердцевину земли. Я непоколебим, как утес над бушующим морем. Родина со всеми ее богатствами — землей, скалами и людьми — здесь, рядом со мной. Оберегает меня, благословляет на битву, на подвиг...

Я больше не видел Зейнаб, плачущую от голода, от стыда перед детьми за неисполненные обещания. Не чувствовал робости. Откуда-то издалека я слышал голос Зейнаб, вливавший в меня бодрость и силу: «Мухаммед!.. Все это — мелочи, главное — ты, Мухаммед. Не бойся за нас. Бей врага. Защити нас от захватчиков... Мы рядом с тобой, Мухаммед. Мы с тобой!» Нет, такое говорится не для красного словца. Да и что же тогда придает смелость солдатам?! В ушах моих зазвенел голос детей, кричавших: «Папа!» Мне показалось, будто доносится он откуда-то с вершины горы. Я хотел обернуться и увидеть детей, но вражеские пули носились вокруг, как рой рассерженных ос. Я не мог даже оглянуться: надо было стрелять, стрелять по врагу без передышки. Ведь я защищал свой народ, свою семью. Я хотел, чтобы Зейнаб снова встретила меня и дети выпорхнули мне навстречу. Это за них я сражался сегодня. Они должны

выжить и обрести счастье, не ведая больше голода и нужды. Кто, как не я, в ответе за них? Я словно сросся с моим пулеметом, он подчинялся каждому моему движению, каждой мысли, гневался и ликовал вместе со мной...

Вечером, после боя, к нам пришел офицер.

— Мухаммед и Низар, — сказал он, — вы стреляли отлично и нанесли врагу немалый урон. От имени родины и от себя лично благодарю вас!

Благодарность... Родина... Эти слова западали в душу. Что со мной происходит? Я, мужчина, плачу как ребенок. Слезы льются из глаз, падают на камни. На сердце стало удивительно легко. Мне стыдно чуть-чуть. Почему я плачу? Не знаю. Слезы текут и текут, оставляя на запыленных щеках извилистые дорожки. Наверно, я все-таки плачу от радости.

Вечером на ужин нам принесли сало. Кусок застревал у меня в горле. Как там Зейнаб? Дети? Есть ли у них нынче ужин? Отпустил ли Ахмед аль-Хасан им продукты в долг? Тревога за семью омрачила мою трапезу. Забравшись в окоп, я укутался в одеяло. На уме у меня одно — Зейнаб, дети. Ну и, конечно, Ахмед аль-Хасан. Мне стало тоскливо в окопе, холодном, сыром, как могила... Передо мной словно наяву предстала продувная рожа торгаша.

«Я ежедневно, ежечасно умираю здесь, — крикнул я ему, — чтобы ты не волновался за свою лавку, свой доход, свой дом! Неужто ты можешь спать спокойно, когда рядом с тобой мои дети корчатся от голода? Нет, они вовсе не ждут у твоих дверей милостыню, не попрошайничают, нужда заставляет их брать у тебя в долг... Потому что отец их не работает у хозяина, иначе он накормил бы их досыта, избавил от нужды и унижения. Их отец служит родине, а значит — всем землякам. Выходит, поэтому голодают его дети? Что ты творишь, Ахмед аль-Хасан?.. Одумайся!»

Голос у лавочника жирный, вкрадчивый: «Разве настал конец света? О, я несчастный, слабый человек! Да если я не выручу стоимость проданного товара, мне ничего не закупить, опустеет лавка. А цены растут как грибы. Ведь нель-

зя же деньги заморозить... Настал, говоришь, конец света? Вокруг-то что творится!»

«Боишься, нас победят? — спросил я. — Как бы тебе, бедолаге, не пришлось вывозить свои денежки еще куда и там налаживать дело. Капитал... У него нет родины, это я знаю. А может, опасаясь: я погибну, не успев расплатиться за все, взятое в долг?»

«Нет, Мухаммед, нет. Стыдись своих слов, сосед. Ведь ты сын этой страны. Мы земляки, столько прожито вместе. Ты мне как брат. Мы все любим тебя».

«О какой же стране говоришь ты?.. Той, что принадлежит торгашам? Или о другой, которая призвала нас на службу? Сам-то я сын какой из них? И еще ответ: как это ты умудряешься выколачивать прибыль? Говори, Ахмед аль-Хасан! Ради чего ты так усердствуешь?.. Знаю, знаю, трясешься за свои кирши. Не бойся, ими оплачивают саваны убитым на войне. Ладно, пускай моя жена похоронит меня без савана, зато уплатит тебе за сахар и чай, взятые для моих детей. А если тебе будет мало, забирай дом. Ведь у нас нет ничего, кроме дома. Черных камней, что, держась друг за друга, заслоняют нас от ветра и стужи. Откуда у нас лавки, поля, имущество?»

Ахмед аль-Хасан исчезает. Убежал, испугавшись моего крика, а может, и вида. Вокруг — первозданная тишина. Сияют звезды. Луна выглядывает из-за облаков, а они, проплывая мимо, касаются ее щек. Сиянье луны отсвечивает в моих глазах. Холодный окоп сочится влагой, сырость впитывается в тело, проникая в самое сердце. Влага эта напоминает мне о моей связи с землей, возвращая к давно отлетевшим дням, окутанным дымкой детства. В то далекое утро, когда я сделал первый робкий шаг по земле. Она была влажной, я ощущал это крохотными своими ступнями. Влажной, холодной и белой, как мел. Мои босые ноги ступали по остриям игл, иглы эти впивались в мою плоть, пронизывали до костей ледяющим холодом...

Я от века связан с землей. Эти узы тянутся в детство, позже я укрепил и умножил их, работая в деревне у дяди.

Зимой и весной ноги мои погружались в жирную пашню, земля страстно желала остановить, удержать меня, чтобы я не ступил и шагу. Потом было лето — сухое, знойное. Липкий пот, натруженные руки, гудящие ноги — уборочная страда. Нет, моя связь с землей не была призрачной или случайной. Я сделал для нее куда больше, чем Ахмед аль-Хасан и прочие. Несравненно больше. Я и такие, как я, — все мы связаны с землей, а она — с нами. Мы существуем благодаря земле, а она благодаря нам родит плоды и злаки. Это взаимная связь и зависимость. По земле мы ходим, на ней работаем, она нас кормит. Земля прекрасна, если это не чужбина. А Ахмед аль-Хасан стоит на кирше, не на земле, но у кирша нет родины, как нет ее и у аль-Хасана.

Мысли, как волны, набегают, уносят, захлестывают меня. Уносят далеко-далеко. Нет, я теперь не просто одинокий безземельный крестьянин. У меня есть дети, и они каждый день ложатся спать голодными. А моя жена от зари до зари надрывается в поле ради жалкой лепешки. Я не только сам унижен и нищ, но еще и виновник лишений и бед других. Пусть мне не платят сполна, но ведь я обязан кормить своих детей, как бы опасна и тяжела ни была работа. Я должен кормить и одевать сыновей, мою дочь и жену. Да, я в ответе за семью и не смог создать им мало-мальски пристойного существования. Не смог... И сам я уже не прежний, изнывавший от нестерпимой кувейтской жары рабочий по имени Мухаммед аль-Масуд. Он жарился в асфальтовых ущельях чужого города, зарабатывая гроши, чтобы отослать их семье. Бродил, бывало, по дорогам, стучался в двери богатых домов на родине в поисках работы, но так и не получил ее...

Потом Мухаммед аль-Масуд исчез. Но я все думал и думал о нем, и мысли уносили меня куда-то, как волны. Грудь моя вздымалась, бодрящий, пронизанный ледяным дыханием горной вершины воздух наполнял легкие, проникал в мельчайшие клетки тела. Видения не покидали меня всю ночь, я бродил в забытии по деревням и городам и успокоился лишь на рассвете. Но нет, это мне только почудилось...

Вдруг взгляд мой проник сквозь стену дома, и я прикоснулся к безмятежным лицам спящих детей.

Вокруг все тихо и спокойно. Творец этого спокойствия и тишины, простершейся над деревнями и городами,— я. Не бодрствуй я здесь, города и деревни не спали бы, утопая в голубом лунном свете. Не оставайся я в этом холодном, сыром окопе, мирная тишина не окутала бы постели тысяч детей, мужья не были бы нежны со своими женами, влюбленные не ухаживали бы за своими возлюбленными. Выпусти я из рук пулемет, сон не заключил бы в свои объятия всех, кто сейчас спокойно предается ему, и над родной землей моей не раздувались бы паруса сладостных грез и великих надежд, на губах у людей не цвели бы улыбки, а уста их не источали бы благостных слов... Я, я — творец счастья.

Я думаю об этом, и сердце мое наполняется гордостью, я возвышаюсь в собственных глазах, горжусь тем, что нужен людям. Потом я снова призываю образ Ахмеда аль-Хасана, он появляется передо мной, и все другие видения блекнут.

Теперь я гляжу на него свысока — да, мне есть чем гордиться — и говорю ему: «Не будь меня здесь, не торговать бы тебе спокойно, Ахмед аль-Хасан. Ты трясешься из-за жалких кирпичей, вон, мол, сколько не заплатили тебе мои дети. Неужто ты не боишься, как бы тебя самого, твои кирпичи, детей твоих не убили, не истребили дотла, если я покину свой пост? Подумай-ка хорошенько, подумай обо мне, Ахмед аль-Хасан... Вообрази, что ждет тебя и твое торговое дело, если меня не будет в этом окопе...»

Я жду ответа. Но лавочник безмолвствует. Кажется, какое-то слово застыло на устах его и он тщетно силится произнести его. Быть может, он хочет сказать: торговля не имеет родины, ведь она зиждется на кирпиче, а у него нет отечества. Вот и выходит: вы защищаете свою родину, я же тут вовсе ни при чем. Но нет, он так ничего и не говорит. На лице его застыла жалкая, растерянная улыбка. Чужой, совершенно чужой... Губы стиснуты, насупясь, уставился на меня и молчит. А может, мне и самому хочется, чтобы он

промолчал и за мною осталось последнее слово. Да и что он может ответить мне? Ахмед аль-Хасан вроде простой человек, владелец деревенской лавчонки. Но в его власти многое: он мог дать хлеб насущный моим детям. Если сравнивать его со мною, Ахмед аль-Хасан — крупный собственник, безраздельно властвующий над всей моей деревней, над моей семьей. Он всемогущ. Это — Нерон, Хулагу, Гитлер, Бегин, Даян... Внезапно видение исчезает, я слышу возбужденный шепот Низара, он хватается и трясет мою руку:

— Мухаммед... Я слышу шорох... Ты ничего не слышишь?

В одно-единственное мгновение я превращаюсь в удивительное существо, чувства мои обострились, устремились вперед точно маленькие щупальца. Я смотрю во все глаза, напряженно вглядываюсь в пространство, мой пулемет, подняв голову, тоже смотрит. Пепельные и белые камни в беспорядке разбросаны передо мной. Тени гор кажутся огромными призраками, над ними висит тишина. Это безмолвие тумана, мы ощущаем его поступь, он приближается к нам упругим, размеренным шагом, подходит ближе и ближе, чтобы уничтожить и овладеть всем. Бывает, тишина источает милосердие, раздает подавание, но сейчас она страшна: тишина единовластно царит над миром, угнетает наши души. Звук тонут, теряются в тумане.

— Ничего не слышу,— шепчу я Низару.

— Там что-то движется,— насторожился он.

— Может, зверек?

— Кто знает!

— Пошли посмотрим?

— Ты с ума сошел! — торопливо произнес Низар и вдруг взмолился: — Давай останемся здесь, в окопе. Тут безопаснее, и стрелять отсюда удобнее.

— А если мы уже окружены?

— Не говори так,— застыв, отвечает Низар.— Лучше прислушайся.

Время тянулось томительно медленно. Было тихо, и в этой тишине я так ничего и не услышал. Наверно, шевельнулось нечто невесомое, живое в тумане, или Низару все это почу-

дилось. Когда я снова прыгнул в окоп, луна, миновав зенит, склонялась к западу. Тени холмов и скал удлинялись, росли, напрочь перекрывая окоп; тьма стала совсем непроглядной. Оставаться в окопе страшно; почему-то здесь, как в кривом зеркале, искажаются и увеличиваются все предметы. Мысли мои закружились, точно подхваченные вихрем, только что были тут и уже забылись; всплывают и качаются странные видения. Я задремал в объятиях окопа, побежденный усталостью. А луна опускалась за высокую гору как зрелый плод, притягиваемый землей.

Приказ командования был четким и ясным: открывать огонь по врагу, как только он покажется. Стрельба началась обычно до восхода солнца. А продолжалась перестрелка чуть ли не целые сутки, превращая и ночную тишину в решето.

Проснувшись в то утро, я первым делом коснулся рукой пулемета и сразу почувствовал: надо что-то сказать, выговориться, чтобы прогнать горечь, комком застрявшую в горле. Я не знал, чем вызвана горечь, и старался об этом не думать. Поставил пулемет на бруствер окопа, подготовил его для стрельбы, полностью снарядил и стал наблюдать за скатом холма, где должен был находиться фланг вражеской обороны, которого вроде и не существовало.

Земля пробуждалась во всей своей красе, жизнь поначалу робко проявлялась в живых существах, словно боясь, как бы смерть не растерзала ее, заяви она во весь голос о своем существовании. Мимо пролетела стайка птиц. Над дальними деревнями курился легкий дымок — призрачное облачко грусти. Заря наплывала с востока алым парусом. Я смотрел на столб белого дыма, с которым играл ветер, гнавший его прочь от далекой деревни. Провожал взглядом таявший дымок, и чудилось мне, будто он бредет ко мне из нашей деревни. И снова я подумал о Зейнаб: сейчас она, как все деревенские женщины, печет хлеб или готовит пищу. У меня даже сердце защемило — так захотелось горячей пшеничной лепешки из ее рук, и я вообразил, что вот ем ее прямо около печи или хватаю на ходу, торопясь в поле.

Я ощущал запах горячего хлеба, наполнившего воздух своим ароматом. Того самого хлеба, ради которого мы трудимся и который сияет, как солнце. В холодные зимние дни мы засеваем поле пшеницей, тащим вместе с быками старый римский плуг. Посеем пшеницу и долгие месяцы дожидаемся жатвы. И вот наконец собраны полновесные золотистые зерна, намолота мука, испечена такая дорогая для нас лепешка. Из года в год огромную часть нашей жизни тратим мы ради этой лепешки, будто и нет ничего, кроме нее, на свете! Сколько отмеренного нам судьбою срока мы отдаем ей!.. Рука легла на холодный рубчатый ствол пулемета, и я опомнился. Вот он я — стою на влажной земле, высунувшись по пояс из окопа, и враг берет меня на прицел. Не выстрелю первым — он может меня опередить. Здесь, на этой земле, нет больше местечка для милосердия. Да, нелегкое у нас положение. Мне не раз приходила в голову мысль: разве враги не такие же люди, как мы, разве они не чувствуют так же, как мы? Но едва вопрос этот укладывался в моем сознании, возникали другие, наводившие на мысль, что враги только с виду похожи на нас. Их переиначили злоба, вражда и чванство, и им не вернуть уже человеческий облик. У ворот моей памяти теснятся видения содеянных ими преступлений и зверств. Но я захлопнул поплотнее эти ворота, ведь все проникающее в них неизбежно поднимает со дна души горечь... Нет, мы зубами, ногтями вопьемся в эту землю! Мы не покинем ее, не уйдем. Здесь поле боя, а не кочевье, откуда можно сняться и двинуться прочь — куда глаза глядят. Мы давно уже оседлый народ, живем на отчей земле. Враг не погонит нас, как ветер гонит опавшие листья. Мы должны, уподобясь деревьям, пустить корни в этой земле, чтобы дети наши не ведали голода и страха, чтобы Зейнаб нашла хорошую работу и мы, обрета достаток и достоинство, гордо несли в мир счастье и покой. Ради этого не жаль и жизнь отдать.

Я начал стрелять, не успев даже предупредить Низара. Мне показалось, что один из вражеских солдат меняет свою позицию. Пулеметная очередь прозвучала сигналом к бою,

пули градом посыпались с обеих сторон. Разбуженное грохотом стрельбы солнце приоткрыло сынам земли свой медный лик и закрылось тучей, печалась, смеясь или гневаясь. Не знаю, сколько времени длилась перестрелка, на часы не смотрел, не до того было. Думал лишь об одном: откуда враг ведет огонь? Механически выполняя приказ, переходил из окопа в окоп. Я был уже не Мухаммед аль-Масуд, отец семьи, муж, работающий на чужбине, фантазер, одолеваемый видениями и мечтами, чьи грезы разъедают горькие думы отвергнутого, лишившегося работы бедолаги без гроша за душой. Нет, в эти мгновения я был солдатом, только солдатом, и все мои мысли сводились к тому, как уничтожить вражескую огневую точку.

Вдруг над нашими головами заревели самолеты.

— Фантомы! — крикнул Низар.

Израильские «фантомы» исправно наведывались к нам хотя бы раз в день. Этого американского добра у врага предостаточно. Едва я бросился в окоп, сверху лавиной обрушились комья земли и камни и засыпали меня чуть не с головой. Прошло немало времени, прежде чем я пришел в себя и понял, что вроде остался жив. И время это было холодным и тяжким, как свинец. Вокруг, казалось, все замерло и наступило царство тишины. Очнувшись окончательно, я шевельнул рукой. Земля, зашуршав, осыпалась, я приподнялся, встал и огляделся. У меня было такое ощущение, будто я впервые увидел этот прекрасный мир. Издалека слышался голос офицера.

— Все живы? — спрашивал он.

Я поискал глазами Низара, его нигде не было видно. Он бесследно исчез.

— Господин, со мной все в порядке, — ответил я. — А вот Низар куда-то пропал.

— Поищи хорошенько в окопе. Разгреби землю.

Я снова осмотрел окоп: стена его обвалилась, засыпав дно. Рядом зияла глубокая воронка. Кинувшись к завалу, я принялся разгребать его. Работал как зверь. Я представил себе Низара, погребенного на дне окопа. Он не может даже

пошевелиться, кричит, но голоса его не слышно, он задыхается. Руки мои так и мелькали. Откуда только силы берутся? Тревожные мысли теснились в мозгу, а руки копали быстрее и быстрее. Я весь ушел в работу. Низар здесь, рядом... он ранен в голову... ему оторвало руку... он посинел от удушья... Я видел саму смерть, долгие месяцы носившуюся вокруг меня. Мертвец!.. Ужас холодил сердце. Я умолял землю воскресить Низара. Меня колотила дрожь, из горла рвался беззвучный вопль. Острая боль судорогой сводила тело, опускаясь вдоль позвоночника, словно текучая ртуть. Страшная тяжесть вдавливала меня в землю. Низар умирает?! Нет, быть не может! Низар, он стрелял из окопа рядом со мной и все время требовал, чтобы я укрылся за бруствером, не рисковал. Он улыбался открыто и ласково. Низар умирает?! И снова — зловещее видение. Птичье крыло бьет меня по лицу. Это крыло совы. Я несу труп моего друга домой, где его — живого — ждет не дождется мать. Я ворон, возвещающий одному из сынов Адама гибель его брата. Я возвращаюсь к матери с ее сыном на ковре беды, уста запечатаны, в глазах черная ночь... Едва возникнув, видение исчезло; я воспротивился, не позволил ему заполнить мое воображение. Я возненавидел его и восстал, чтобы изгнать, рассеять, уничтожить его. Этого жаждало все мое существо. Моя рука, разгребая землю, наткнулась на камни, отбросила их, и я увидел край полотна. Рубашка! Я содрогнулся: неужто видение оказалось явью?! Нет, нет, Низар не мог превратиться в бесформенную грудку мяса и костей! Я стремительно протянул руку — так и есть, рубашка!

— Господин! Здесь Низар. Помогите!

Я сперва даже не заметил человека, рывшего землю рядом со мной. Он делал свое дело молча, потом помог вытащить Низара. И вот мой друг стоит перед нами цел и невредим. Капитан Саид весь взмок от пота, черные усы его посерели от пыли, одежда заляпана грязью.

— Слава Аллаху,— улыбнулся он Низару,— с тобой все в порядке, а мы тут испугались за тебя.

Я уставился на капитана, не находя слов. Низар, расте-

рянный, тоже молчал. Не знаю, сколько прошло минут, куда я выдавил из себя какие-то слова. А может, они и вовсе комом застряли в моем горле и капитан не услышал их. Но во мне они гроыхали, как выстрелы: «Это вы, господин?! Боже, вы весь в грязи!..» Рука моя поднялась в приветствии, а может, я только подумал об этом. Подобие улыбки, мелькнувшей на его губах, исчезло, лицо посуровело, напряглось.

— К бою! — крикнул он и бросился к своему окопу.

Услыхав его, мы тотчас открыли огонь. И вовремя — враг перешел в наступление. Группы пехотинцев были уже в полусотне метров от нас... В этот миг я ощутил вдруг в себе небывалую силу. Я вспомнил тысячи преступлений и зверств, совершенных врагом. Впервые видел я вражеских солдат так близко и словно увидел воочию, что ползут они не по глыбам земли и камня, а по бьющимся в агонии телам моей жены и сына. Услыхал крик мальчика... Перед врагами, содрогнувшись от ужаса, рассыпались камни нашего дома; те, что побольше, катятся прочь, а мелкие камешки, не поспевая за ними, жалобно стонут. Мне послышался голос моей матери. «Защити нас, сын мой!» — кричала она из глубины могилы. Мой взгляд случайно упал на скалу: пули и взрывы откололи, раздробили часть ее плоти, по израненному, щербатому лицу ее катились слезы — это были слезы моей матери. В ушах у меня зазвонел голос Зейнаб: «О Мухаммед!.. Защити меня!»

Мы с пулеметом, окопом и этой скалою слились воедино. Я едва не крикнул моему командиру: «Ну, скорей поднимай нас врукопашную! Брось туда, где взрывается и полыхает земля!» Мне мерещились голоса моего отца и деда, с ними сливались голоса односельчан. «Стой крепко, Мухаммед! — кричали они. — На тебя вся надежда!» Я огляделся раз, другой: никого... А голоса все звучали рядом. Вдруг скала, столько раз заслонявшая меня от вражеских пуль, вскричала: «Не покидай меня, Мухаммед! Защити!.. Аллах, посланник его, святой коран и те, кто дал его людям, очистили для тебя землю, все их жертвы во мне! Во мне их кровь! Ты,

ты наш защитник...» О Аллах, что это?! Скала засияла дивным светом, озарившим бескрайние дали... Я выскочил из окопа и вскинул винтовку, выставив штык, готовый вонзить его в грудь врага. Враг подходил к скале, и я бросился в бой, я даже не слышал приказа. Все, что было потом, не помню. Я кричал во всю мочь: «Аллах велик!» — и бил... Бил и кричал: «За тебя, Зейнаб!.. За тебя, Зейд, сынок!.. За тебя, маты!.. Ты слышишь меня, отец?!» Все смешалось: жизнь и смерть, дети, кровь, любовь, ненависть, прошлое и настоящее...

Грохот танков, катившийся издалека, смешался с криками людей и свистом пуль. Стремительно нарастал гул самолетов. Свои или вражеские? Раздумывать об этом было некогда. Ноги мои уходили все глубже в набрякшую землю, я изо всех сил орудовал штыком. Вдруг руки сделались ватными, ноги ослабели, гора сама собою сорвалась с места и закружилась — быстрее, быстрее. Все потускнело, краски выцвели и погасли. Руки и ноги не слушались меня. Я покачнулся и упал рядом с моей скалой. Прикоснувшись к ней пальцами, я ощутил, как на меня нисходит покой. Непроглядная тьма окутала мир, и чудилось мне, будто это черные волны волос красавицы ночи...

Потом я стал приходить в себя. Снова услышал грохот, сквозь него пробивались ликующие голоса однополчан: «Враг бежит!.. До Голанской равнины рукой подать!.. Вперед!..» Радость переполнила все мое существо. Но сам я не в силах был вымолвить ни слова. Мне захотелось вдруг погладить скалу, сказать ей: «Поздравляю, вражья стопа не осквернила тебя...» Но тут откуда-то из глубины земных недр, точно раскаты грома, послышался голос: «О сын мой, ты защитил меня ценой своей крови. Подвиг солдата прекрасен, кровь его священна. Героями славится родина...» Сердце мое затрепетало от гордости. И вдруг на меня обрушилась свинцовая тишина.

II

Солнечным июньским полднем Зейнаб возвращалась с жатвы. Зной палил нещадно. Пот катился с нее ручьем; казалось, Зейнаб смазала кожу лоснящимся жиром. На бронзовое лицо ее, точно грим, налипла пыль. Все тело Зейнаб зудело от пыли, она забивалась в горло, стесняя дыхание. Зейнаб тяжело ступала по тропе, ноги ее отекали, глаза то и дело застилала сумрачная пелена, взгляд был печальным и мрачным. Подходя к дому, она заметила их верного пса Хамрана. Он, тяжело дыша, бежал ей навстречу. С визгом и лаем Хамран бросился к хозяйке, ластился, терся об ее ноги. Но Зейнаб, не взглянув на него, понуро брела по дороге. Пес, забежав вперед, остановился, преграждая ей путь, метался вокруг и снова кинулся ей в ноги. Но Зейнаб шагала дальше. Пес, казалось, хотел сообщить ей что-то, он снова опередил хозяйку и улегся поперек дороги. Высунув язык, тяжело дыша, он умоляюще поглядел на Зейнаб, потом лизнул ее туфли, тихо и беззлобно рыча. Зейнаб в сердцах прогнала пса. Опустив голову, он отошел в сторонку. Пес, наверно, ведет себя так странно, решила Зейнаб, потому, что кто-то ударил или обидел его, и он жалуется по-своему. Странное поведение собаки ее вовсе не насторожило. Но войдя в дом, Зейнаб нашла дочь Фатиму в слезах, а сын Ахмед уснул на полу, прямо на солнцепеке, весь вспотел, курчавые волосенки прилипли к набитой соломой подушке. Зейнаб, упрекая в душе старую Умм Сулейман, свою соседку, за невнимание к детям, нагнулась к мальчику, нежно обняла его, потом, вытерев слезы Фатиме, спросила:

— Ты чего плачешь?

Но девочка молчала, глотая слезы. Зейнаб поспешила в соседнюю комнату — там было пусто.

— Где же Зейд и Умм Сулейман? — спросила она.

У Фатимы снова брызнули слезы, и мать поняла: тут что-то не так. Умм Сулейман никогда не оставила бы малышей одних и не ушла домой, не дождавшись ее. Тщетно пыталась Зейнаб понять, что же случилось. Фатима, явно не зная, в чем дело, тревожно поглядывала на мать, то и дело вновь принимаясь плакать.

Зейнаб перенесла уснувшего сына в тень, вытерла пот с его лица, умыла Фатиму водой, остававшейся в чане. Потом уложила Ахмеда в постель и, взяв дочку за руку, вышла из дома на поиски Зейда и Умм Сулейман.

Хамран бежал впереди них, виляя хвостом, и, как заправский проводник, указывал дорогу. Время от времени пес останавливался и, обернувшись, глядел на хозяйку. Если она поворачивала не в ту сторону, пес кидался к ней, терся об ее ноги, лаял тоскливо и снова бежал вперед.

Воздух был раскален, солнце заливало жаром все вокруг, словно стараясь выжечь весну. Горячая земля подавалась под ногами Зейнаб — так пепел в печи принимает яйцо. Она взяла девочку на руки, чтобы земля не обжигала ее ножки. Мрачные мысли, как вороны, кружились над головой Зейнаб, били крыльями в темя, предрекая несчастье; на висках ее вздулись голубые пульсирующие жилки. Она шла, еле слышно бормоча: «Небось с Зейдом беда?.. А может, случилось что с Умм Сулейман? Да, с кем-то из них явно неладно!.. Или в деревне что-то стряслось и Умм Сулейман побежала туда?..» Вдруг лицо ее помрачнело. «Старухина страсть,— вспомнила Зейнаб,— первой узнавать всякие новости. Вот, наверно, и бросила дом и детей — лишь бы выпросить, не слышно ли где чего. Ей подавай все подробности, чтоб посудачить потом всласть...»

— Ей-богу,— вырвалось у нее,— есть за Умм Сулейман такой грех!

Она ускорила шаг.

Подходя к дому Умм Сулейман, Зейнаб огляделась и позвала погромче:

— Эй, Умм Сулейман! Умм Сулейман!

Ни слова, ни шороха в ответ. Зейнаб вошла в дом — ни души. Тревога ее усилилась. Выйдя из дома Умм Сулейман, она застыла в растерянности: куда идти, кого спрашивать? В узком переулке никто ей не встретился, деревня словно вымерла. Зейнаб напугала тишина — непривычная, странная, тревожная... Что делать? Она устала, измучилась от жары, ее одолевал страх. С испугу ей чудилось, будто у нее оборвалось все внутри. Надо расспросить соседей! Зейнаб постучала в дверь ближайшего дома — никто не отозвался, не вышел к ней. На обратном пути пес еще настойчивее подгонял Зейнаб, сердился, а когда она остановилась на дороге — расспросить четырнадцатилетнюю Рахму аль-Махмуд, налитую, как спелая груша, стройную, пышущую здоровьем, — он громко на нее залаял. Странное дело, Рахма, едва заметив Зейнаб, ускорила шаг. Зейнаб насторожилась: «Что случилось? Почему Рахма избегает меня? Я ведь ни ей, ни семье ее ничего плохого не сделала».

— Рахма, здравствуй! — окликнула она девочку и провела пальцами по влажному лбу.

— Дай бог вам здоровья.

— Случилось что-нибудь? — торопливо спросила Зейнаб.

— Не знаю, все собрались в доме старосты.

— Почему у него? — насторожилась Зейнаб.

— Не знаю, Умм Зейд...

Рахма двинулась было дальше, избегая дальнейших расспросов, но Зейнаб задержала ее:

— Ты не видела Умм Сулейман?

— Вроде там она, точно не знаю.

Зейнаб направилась к дому старосты. Рахма с облегчением перевела дух и, обернувшись, проводила соседку сочувственным взглядом. У Зейнаб почему-то стали заплетаться ноги. Нет-нет, нельзя так волноваться! Она ведь сильная, уверенная в себе женщина. Что за нелепый страх? И к старосте она идет по делу — надо найти сына и Умм Сулейман.

пусть возвращаются поскорее домой. Откуда все-таки этот страх? Почему она никак не успокоится? Но страх не отступал, леденил сердце, пронизывал каждую клеточку тела. У дома стояли люди, сбившись в кучу. Заметив Зейнаб, многие поворачивались к ней, и вид их, казалось, говорил о чем-то, чего не смели сказать уста. Одни печально склоняли головы, другие опускали глаза, бормоча себе что-то под нос. Кое-кто поглядывал на нее с тревогой и любопытством. Все это еще больше усилило ее беспокойство. Зейнаб прошла мимо двух женщин, сидевших на дороге. Они смущенно придвинулись друг к дружке, и одна из них шепнула товарке:

— Да поможет ей Аллах...

Зейнаб сперва не поняла смысла оброненных женщиной слов, все ее существо противилось этому. До нее дошло вдруг, что она все ускоряет и ускоряет шаг, словно пытаясь убежать от сжигавшего ее огня. Но было ли это бегством от судьбы? Или она торопилась поскорее услышать, что же, собственно, произошло? Да, решила Зейнаб, без толку затыкать уши и притворяться, будто ничего не случилось, лучше уж поспешить и самой узнать все как есть.

У дома старосты сидела на пороге Умм Сулейман. Прислонясь к стене, она обхватила голову руками, скорбное лицо ее залито было слезами.

Замирая от волнения и страха, Зейнаб наклонилась к ней, умоляюще протянув руки:

— Умм Сулейман, да ответит Аллах зло от нас. Ради него, всемогущего, скажи хоть что-нибудь.

Умм Сулейман лишь глянула на Зейнаб и, не сказав ни слова, громко зарыдала. Обеспамятев от страха, Зейнаб спросила:

— Где Зейд? Что с ним?

— С Зейдом все в порядке.

— Где он?

— В гостинной, возле мужчин.

Сердце Зейнаб катилось в пропасть, разверзшуюся в ее груди. Так человек, обессилив, все еще тщится отразить

удар, отсрочить нагрянувшую беду. Зейнаб вся дрожала, колени ее подгибались.

— Скажи наконец, Умм Сулейман, в чем дело?

— Не знаю, дочка, не знаю. Спроси у мужчин, они сказали, пришло, мол, письмо какое-то, и забрали у меня Зейда. Увы, слова, услышанные мною, не приносят радости ни врагу, ни другу. О Аллах, избавь нас от всех бед и печалей!

«Письмо?!— лихорадочно думала Зейнаб.— Кто мог написать его, кроме Мухаммеда? Если с ним что-то стряслось, как теперь жить?»

Зейнаб вихрем ворвалась в гостиную и, одолев робость и страх перед неведомым, громко спросила:

— Заклинаю вас Аллахом, что случилось?

Мужчины обернулись к ней. Впервые в жизни Зейнаб оказалась лицом к лицу с целой толпой мужчин: на нее уставились десятки глаз. Ни разу еще не бывала она в подобном положении. Что делать — плакать ли ей, умолять ли, или лучше всего помолчать? Она пыталась прочесть ответ в глазах мужчин, но ничего не поняла, а мужчины молчали, многозначительно переглядываясь. Наконец вперед вышел староста. Седая борода его задрожала, в глазах светилась жалость:

— Уповай на Аллаха, Умм Зейд. Уповай на Аллаха и верь, все пройдет.

Зейд, плача, подбежал к матери и ухватился за подол ее платья.

— Что-нибудь с Мухаммедом?— спросила она сквозь слезы.

— С Мухаммедом все в порядке. Он — настоящий герой. Зейд может гордиться таким отцом.

— Но что же случилось?

— Ничего особенного...

— Ради Аллаха, староста, скажите мне, что с Мухаммедом?

— Нет силы и мощи, кроме как у Аллаха,— помолчав, произнес староста.— Я получил письмо от Низара. Мухаммед, друг его, сказано в письме, ранен.

Пронзительно вскрикнув, Зейнаб выбежала на улицу, ее догнал плачущий Зейд. Они пошли по деревне, рыдая во весь голос. Из домов навстречу им выходили крестьяне, сочувственно качали головами, разделяя горе матери и сына. Печально взирали на Зейнаб горы, от жалобных стенаний ее лопались и рассыпались камни, боль и скорбь Зейнаб передались земле. Женщины окружили Зейнаб, шагая скорбной чередой. Подобно тихим горлицам, чье молчание время от времени прерывается воркованием, женщины голосили, рыдали, выводили печальные песни. Сердца их переполняли тревога и боль, они вспоминали свое печальное прошлое. Мрачные воспоминания тяжелой глыбой ложились на грудь, стесняя дыхание. Безотрадно было и их настоящее. Женщины рыдали все громче, ведь это был повод свободно и открыто, не навлекая на себя гнева мужчин, излить накопившиеся в душе вековечные страдания и горечь. Долго не могли они успокоиться. А завтра жизнь снова потечет по прежнему руслу — такая же тоскливая, однообразная, порой мучительная, как у несчастной Зейнаб.

Односельчане, как могли, утешали семью Мухаммеда аль-Масуда. Завидя его ребятишек, соседи старались их приласкать; дети не отставали от взрослых, пытаясь отвлечь бедолаг от невеселых мыслей. Особенно преуспели в этом женщины — чужая боль поразила их в самое сердце, взбудоражила все сокровенное в тайниках души. Люди торопились разделить с Зейнаб бремя ее тяжелого горя, а Ахмед аль-Хасан даже послал семье Мухаммеда горсть кофе и кило сахара. Души людей наполнились сочувствием к Зейнаб. В ее драме было нечто такое, что касалось не только Зейнаб и ее детей, а глубоко тронуло души многих людей...

Письмо, прибывшее в деревню, было адресовано старосте, поскольку Низар не знал имен ни жены своего друга Мухаммеда, ни его родичей. Вскоре староста с несколькими почтенными сельчанами догнал Зейнаб и, проводив ее, вошел в дом, чтобы прочесть ей вслух письмо. И часа не прошло — вся деревня знала содержание письма.

«Уважаемый староста деревни Кахиль. Приветствую вас. Пишу вам с фронта, с передовой. Прошу сообщить семье Мухаммеда аль-Масуда из вашей деревни: он ранен. Это случилось на моих глазах, когда мы вступили в схватку с врагом. Не знаю, жив он сейчас или нет. Он бился как настоящий герой. Мы гордимся им, и родина им гордится. Вы все тоже должны гордиться подвигом Мухаммеда. Передайте привет от меня его семье, особенно сыну его Зейду, Мухаммед всегда вспоминал о нем. За два дня до боя он хотел послать Зейду двадцать пять лир, но не успел. Я вкладываю эти деньги в конверт вместе с письмом и прошу передать их его жене или Зейду. Да будет над ними милосердие Аллаха и его благословение.

Р. С. Мухаммед аль-Масуд занесен в списки пропавших без вести.

Низар аш-Шави».

Все поминали Мухаммеда аль-Масуда добрым словом, скорбели о нем. Зейнаб была неутешна, в отчаянии обливалась слезами. На нее теперь легли новые обязанности, появились новые, большие заботы. Дети совсем маленькие, жить не на что, муж пропал без вести... Да поможет беднякам Аллах!

Долог был путь Зейнаб, проторенный тысячами таких же, как она, женщин, ведавших в жизни одну лишь нужду и боль. Внимая голосу своего сердца, она искала утешения и терпеливо внушала детям: отныне они должны быть разумнее и серьезнее — ведь они сироты... Поставив Зейда перед собой, она повторяла мальчику: помни, теперь ты у нас единственный мужчина, хозяин дома. Она рассказывала ему об отце, надеясь хоть этим вселить в его душу бодрость, веру в свои силы, в будущее. Зейнаб непрестанно скорбела о муже, думала о нем. Вспоминая минувшие годы, Зейнаб не могла воскресить в памяти ничего отрадного и светлого, кроме редких радостных дней, когда вся семья их была в сборе и ничто не омрачало их жизнь. Муж подолгу отсутствовал, зарабатывал гроши, а забот возникало много,

очень много. Он был гордым, ее Мухаммед. Увы, ему так и не удалось осуществить свою маленькую мечту, которой он часто делился с нею, когда они оставались вдвоем. «Мечтаю,— говорил он,— чтобы у нас был маленький домик. Вокруг него мы непременно разобьем сад, распахнем какое-никакое поле, засеем его, лепешек напечем — ешь не хочу. Работать станем день и ночь. И мне, поверь, уже незачем будет уезжать от вас на чужбину. Живем-то мы на земле один раз!..»

Глаза Зейнаб наполнились слезами: «Ты был на чужбине, о отец Зейда, а мы жили надеждой на твое возвращение. Дни проходили, горькие, как плоды алкама*. Мы вытерпели все невзгоды, ожидание облегчало нам горечь разлуки. Теперь же, увы, нет у нас никакой надежды. Горе вошло в наш дом и в наши сердца, Мухаммед...»

Когда соседи разошлись, впервые в жизни Зейнаб почувствовала, как холод смертельной тоски стиснул сердце. Прижимая Зейда к груди, Зейнаб пыталась прикрыться им, как щитом, от одиночества. С этого вечера она лишилась покоя. В доме все переменялось. Каждая вещь ранила ее. Любой шорох заставлял вздрагивать, губы ее судорожно подергивались, руки опускались бессильно. Подавленная, ослепленная горем, она часто вскакивала с места, подходила к двери или к маленькому окошку, пробитому высоко в стене, напряженно вглядывалась вдаль, прислушивалась, затаив дыхание, потом бросалась обнимать и ласкать своего Зейда.

Женщина без мужа должна особо блюсти себя и беречь детей, чтобы злые языки не запятнали ее имя. «Честь дороже всего на свете, дочка, сокровище женщины — ее чистота». Слова эти, так много значившие для нее теперь, часто повторяла перед смертью мать. И неспроста мать привиделась ей во сне, пришла к ней среди ночи. Горе принесло Зейнаб особое прозрение, пробудило неведомые прежде си-

* Алкам (колоквинт) — стелющееся или вьющееся растение семейства тыквенных с очень горькими плодами.

лы. Она поняла: честь и впрямь величайшее сокровище женщины и ее надлежит беречь как зеницу ока. Раньше она не особенно задумывалась над этим, но теперь...

Мухаммед не один год прожил в Кувейте, потом ушел на военную службу. Все это время Зейнаб жила одна, но она почему-то не чувствовала одиночества, не замечала жадных мужских взглядов. Однако в тот горестный вечер она вдруг осознала себя женщиной, которая может приглянуться любому мужчине, и тот пожелает овладеть ею. Сколько раз доводилось ей слышать жалобы товарок: женский, мол, век краток, красота да пригожесть — недолгий дар. Но сейчас ее мысли о другом — она осталась одна, без мужа, без его защиты и покровительства. Где уж Зейду, сыночку, отстоять ее от посягательств мужчин, защитить ее дом? Зейд... О нем лишь она и думает, он — надежда, что теплится в сердце как свечка, разгоняющая обступившую ее с того вечера темноту, страх, одиночество. Ведь тень Мухаммеда покинула дом, опустела постель, хранившая тепло его сильного тела. Покинула дом непреклонная, твердая воля, что воздвигла его из камней... Рассеялась без следа сила, дарившая успокоение. Дом словно остался без крыши, обнажив свое нутро перед нависшим над Зейнаб небом. И теперь всякой птице вольготно летать в этом прежде для них заповедном месте.

А может, ощущение это — нечто вроде предчувствия нового брака? Разве раньше тревожил ее потаенный страх перед мужчинами? Влекло ли ее к ним? Что, если в ней пробудилось тайное страстное желание? И со временем овладеет всем ее существом?.. Кто знает... Слишком уж тяжелое бремя забот и ответственности легло на ее слабые женские плечи. Жизнь ее, такая устойчивая прежде, вдруг зашаталась. Раньше она жила за крепкой стеной, теперь стена рухнула. И Зейнаб вдруг поняла: стена эта была не только защитой ей, но и преградой, державшей ее взаперти, как в темнице. Брак, конечно же, необходим, он — источник радостей, только брачные узы — те же оковы.

Она теперь по-новому смотрела на мир. Даже в доме своем

подмечала незамеченное прежде. Мельком глянув на потолок, подернутый сажей, вдруг впервые увидела: доски-то ведь подгнили и тростник пожелтел. Взгляд ее задержался на прилепившемся под потолком гнезде ласточек. И вдруг для нее все исчезло, кроме крохотных птенчиков, нежная мать прикрывала их своими крылышками. Зейнаб слышала только слабый писк, доносившийся из гнезда, окруженного пепельной пеленой паутины... Очнувшись, она теперь уже внимательно вгляделась в потолок. Пожелтевший тростник плотно уложен на опоры из досок, кое-где тронутых гнилью. Как только все это выдерживает тяжесть земляной крыши?

Занимался рассвет, отсветы его проникали сквозь дверную щель. Потом в комнату пробился солнечный луч, и Зейнаб почудилось, будто светлая нить надежды протянулась от ее сердца к гнезду ласточек...

Первое, что видела Зейнаб, просыпаясь по утрам, были птенцы ласточки, тянувшие шеи из гнезда. Мать приносила им в клюве пищу. И, глядя на прилепившееся к потолку гнездо, на хлопотливую ласточку и разевавших клювы птенцов, Зейнаб ощущала прилив бодрости, и беззвучная песня, казалось ей, заполняла весь дом...

Вот и сегодня, посмотрев на гнездо, Зейнаб перевела взгляд на своих детей: они безмятежно спали, счастливые в царстве грез — спокойном и безопасном. Улыбки их озаряют весь мир, и словно исчезла прочь нищета, наложившая было печать на их лица. Отступили страдания, истощившие их немощные руки, нежные, слабые пальцы. И вроде не заметно, что они лежат на выцветших бурых подушках, а из дыр полосатого желтого тюфяка — их не заштопать, не залатать — вылезла вата. Нет в мире ничего милее и краше детской улыбки, ласковых легких ручонков. Зейнаб вздохнула, и в сердце проснулась привычная боль. Она поднялась с постели, стараясь не разбудить детей. Пусть поспят сколько душе угодно, прошлой ночью их сон был тревожным. Нет больше с ними того, кто рассеял бы их заботы, не дал бы почувствовать себя обездоленными. Детям да и ей самой

надеяться больше не на что. Вся их жизнь круто переменялась.

Нынче утром Зейнаб не пришлось идти в поле. Вчера вечером к ним зашел дядя Джабир. Он долго смотрел на нее, насупив брови и сощурясь. Сидел и молча вздыхал, будто вслушивался в ночь, ожидая ответа на какие-то свои мысли.

— Завтра и послезавтра не ходи в поле,— сказал он потом, глядя куда-то вверх.— Побудь с детьми. Вот тебе плата за два дня вперед, купи им что-нибудь.

Зейнаб, от души поблагодарив старика, заплакала и робко протянула руку за деньгами. Пусть их было немного, все равно это милость судьбы. У нее отлегло от сердца, и губы тронула улыбка. Джабир и сам-то никакой не богач, и щедрость его была немалой жертвой. Потом он повернулся к дверям — сутулый, сгорбленный, и Зейнаб услышала, как он бормочет молитву. Наверно, он принес ей деньги, чтобы почтить память Мухаммеда, павшего в боях за родину, или надеясь, что Аллах за это отведет от него беду и отличит в день Страшного суда.

Зейнаб встретила новый день с решимостью и болью. Задумавшись о судьбе, постигшей ее мужа, о своей собственной доле и будущем своих детей, она позабыла о лепешках в печи.

«Неужто Мухаммед и впрямь канул в вечность и никогда не вернется домой?— спрашивала она себя.— Умер, и я больше не услышу его смех...— В глубине души она не могла поверить этому.— Где его схоронили?— снова и снова вопрошала она.— В пустыне? А может, просто засыпали землей, без всяких почестей?.. Камешки и земля набились ему в рот... Он умер... Умер!..— Зейнаб замерла, дважды произнеся вслух последнее слово. Будто выдохнула его в тот же миг, что и печь, исторгшая дым из жерла. Нет, она не могла смириться с этой мыслью.— Говорят, он числится в списках пропавших без вести. Значит, никто не видел его мертвым. Что, если он...— Мысль, точно громом поразившая Зейнаб, заставила ее отшатнуться от печи.— Что, если он в руках врагов?.. Проклятые!..» Схватив изогнутый железный прут,

которым сажают в печь и достают лепешки, она выбежала за дверь.

Наверно, Зейнаб вообразила, будто прут этот — смертоносное оружие и она сразит им врагов и вызволит мужа. Да и где было взять ей другое оружие? На пороге она увидела Зейда, незаметно выскользнувшего из постели. Он прижался к двери и горько плакал. Зейнаб, не сдержав слез, обняла сына и вернулась с ним в дом. Усадив мальчика возле печи, она угостила его горячей лепешкой и продолжала печь хлеб.

Снова взметнулись вихрем тревожные мысли. Вдова! Какое жестокое слово, оно леденит сердце, разит наповал. Снова и снова спрашивала она себя: «Неужто я и впрямь вдова, а дети мои сироты? И нет у меня заступника и покровителя?» Она понимала: да, так оно и есть, но мысль эта не укладывалась у нее в голове. Она все равно не верила, что навсегда потеряла мужа и нечего ждать его возвращения. А если... Мало ли что... Ведь раньше он не обманывал ее надежд и всегда возвращался. Но теперь... Жив ли он? Если жив, свободен ли? Волен ли в своих поступках?.. Взвешивая все «за» и «против», она приходила к мысли, что муж еще может вернуться. Сердце ее разрывалось на части. Она понимала: покоя, утешения ей не найти. Как теперь жить? Зачем солнце в небе, если Мухаммед не вернется?

Закончив печь хлеб, она встала и, чуть живая от изнеможения, понесла малышам горячие лепешки. С тревогой поглядывая на мать, шел рядом с ней Зейд. И его одолевали страх и предчувствие перемен.

III

Я почувствовал, что сознание возвращается ко мне; после долгих часов бездонной, черной пустоты вновь начиналась жизнь. Я протянул руку, хотелось дотронуться до скалы, закрывшей меня своим телом от вражеских пуль, но нащупал какие-то странные, незнакомые прежде предметы. С трудом приоткрыв глаза, я увидел над собой... потолок. Тела своего я почти не ощущал. Где нахожусь, не ведал. Я едва сумел разглядеть очертания и краски окружавших меня предметов, но наконец понял, что нахожусь в госпитальной палате. Сам я был спеленат белой тканью и укрыт сверху одеялом темного, тоскливого цвета. Что случилось? Как я оказался здесь? Память настойчиво стучалась в замкнутое покуда хранилище воспоминаний: что же произошло со мной в последнем бою? Ничего припомнить я так и не смог. Да, я стрелял, земля ходуном ходила от взрывов, потом я упал... Напрягая всю свою волю, я старался понять необъяснимое, казалось бы, положение. Попробовал, шевельнув рукой, приподнять одеяло, но не смог. Почувствовал, что и ноги меня не слушаются. Сердце заколотилось неистово: ужель я стал инвалидом и обречен весь остаток жизни быть прикованным к ручной тележке? Эта мысль ошеломила меня, в памяти вдруг всплыла на миг коляска паралитика, я как-то видел его мельком на одной из улиц Дамаска. Видение исчезло, уступив место другому: человек ползал, подтягиваясь на руках, ноги его были ампутированы выше колен. Собственно, и от рук остались только обрубки. В глазах, обращенных к прохожим, мольба: подайте пару кирпичей, люди добрые. Кирши, брошенные сердобольными прохожи-

ми, падали на деревянные салазки, служившие несчастному средством передвижения. Я зажмурился, отгоняя прочь страшный призрак, но он не исчезал. Сердце мое стало источником слез. Я вдруг почувствовал себя страшно одиноким. Кошмары, подавлявшие меня, возвращались снова и снова, не давая ни минуты покоя. Как ни старался я вызвать образы моей Зейнаб, Зейда, Фатимы, маленького Ахмеда, они не появлялись. Мрачные видения громоздились друг на друга: какие-то лица, улицы, города... Временами возникали откуда-то мои родичи, соседи, знакомые — они встречают меня, а мне никак не подойти к ним. «О горе!..— слышу я.— Мухаммед аль-Масуд калека!.. Ах, бедолага!..» Слова катятся в бурном потоке жалости, бегущем с Голанской равнины по склону горы аш-Шейх. Увидев каменные скалы, сочащиеся слезами, я заметался, как птица, застигнутая бураном... Закрыв глаза, пытаюсь уснуть, но видения не отступают. «Один,— думаю я,— один, всеми покинут! Где они, что с ними?.. Бедные мои дети, бедная Зейнаб! Они не ведали покоя и счастья, даже когда я, здоровый, полный сил, был вместе с ними. Каково им теперь?» Вдруг сердце сжала невыносимая тоска по Зейду. Боже, вот он стоит рядом, по щекам текут слезы. Молча глядит он мне прямо в глаза, серьезный не по возрасту, и во взгляде его мне чудится упрек: «Ты покинул нас, отец, без всяких средств. Мы голодаем и даже не учимся грамоте... Ну а теперь ребята будут дразнить меня — сын калеки...— А слезы все льются, Зейд всхлипывает и вытирает их ладошкой. Он пытается быть стойким.— Что мы тебе сделали, отец?— спрашивает он.— Так-то отплатил ты нам за наше долготерпение? За бедность и все наши страдания? Ведь есть же отцовский долг! Все отцы в деревне возвращаются домой, принося что-нибудь детям, помогают им... Мама гнет спину в поле от зари до зари, а потом, падая от усталости, хлопочет по дому, пока ее не сморит сон... В чем наша вина, отец? Брат с сестрой скажут тебе то же самое. А мама... За что приходится ей есть хлеб, горький от пота и слез?»

Я пытаюсь схватить и поцеловать его маленькую ручонку,

стараюсь отвести от себя его упреки, говорю ему самые нежные слова, пытаюсь освободить его сердечко от бремени забот. Как могу, объясняю сыну безысходные свои обстоятельства, рассказываю о горестной жизни своей. «Да,— говорю я ему,— я родился не с золотой ложкой во рту. Пришлось уезжать в чужие края, добывать для всех нас кусок хлеба. А потом... Ведь я честный гражданин и обязан защищать отечество и служить в армии. Пусть не исполнил я до конца свой долг перед семьей, зато выполнил долг перед родиной. Дай срок, я и для вас сделаю все что смогу...»

В ушах долго еще звучат слова Зейда. Я и сам плачу, хоть и знаю — слезы не к лицу мужчине. Зато приходит какое-то облегчение. Словно на сердце легла легкая мальчишечья ладонь, и оно теперь бьется размеренно и спокойно. «Будь что будет,— решаю я,— покорюсь судьбе». В комнате ни души, не у кого узнать, где я, как попал сюда и что со мной. Никто не проходит мимо моей палаты. Кажется, я всеми покинут, отрезан от мира, брошен в океан безмолвия.

Комната начинает погружаться во мрак, и вдруг бесшумно открылась дверь и вошла девушка. На ней короткий белый халат. Испытующе посмотрев на меня, она повернула выключатель, зажглась лампа на потолке. Девушка подошла к кровати. Я в упор уставился на нее, но выражение ее лица меня не успокоило: было в нем нечто угрюмое, неприятное. Она рассматривала меня, однако я ничего не сумел прочесть в ее взгляде. Хотел спросить: «Где я?» Но язык бессильно шевелился во рту, и вышло лишь невнятное бормотание. Девушка ничего не ответила, только снова внимательно поглядела на меня. Глянув на листок, висевший у изножия кровати, она выключила свет и закрыла за собой дверь, покинув меня в пучине мрака, боли и страдания. Почему, удивлялся я, она промолчала, даже не улыбнулась мне? Неужто солдат, раненный в бою, не заслужил у соотечественников хотя бы улыбки? Гнев шевельнулся в груди, потом свернулся, как насторожившаяся змея. Комната казалась мне душной и ненавистой, она угнетала меня. И тут

я вспомнил, как бывалые люди не раз говорили мне: «Запомни, в трудную минуту никто тебе не поможет. Жертвуя собой, человек страдает сам, мучается его семья, прочим на это наплевать». Сперва я не верил им. Что, если они правы? Вдруг в мозгу зазвучали другие слова, и каждое ударяло в висок: «Люди с теми, кто стоит на ногах... Люди с теми, кто стоит на ногах... Это верно... Верно... Что же будет со мной?..» Они пробудили во мне мучительную, безнадежную тоску и горечь. Тут я вспомнил отца, да смируется над ним Аллах, он всегда мне твердил: «Припрячь кирши на черный день, Мухаммед. Если жизнь швырнет тебя на колени, деньги поднимут тебя». «О да,— усмехнулся я,— кирш поднимает меня, и он же меня опускает. Подумать только! Будь у меня кирш и отдай я его медсестре, купил бы небось улыбку для раненого, пожертвовавшего собой ради других...»

«Нет, нет, отец, ты не прав. Нам с семьей и без того не хватает денег на прожитие, где уж тут откладывать кирши? Ты ведь мне не оставил в наследство ни гроша... Вечно ты жаловался мне, сколько раз слышал я, как ты поверял свои горести другим. Знаю, детство твое прошло во времена турецкого ига и гнета пашей. Они скупали землю у крестьян и выкачивали из нее золотые лиры, выплачивая ими ежегодную дань Высокой Порте*. Вы платили чужеземным господам своим загубленным детством, растроченной силой своей и здоровьем. Платил ты и в юности, но уже другим хозяевам — французам, служил им как верный пес, взамен получая проклятья и презрение. Выходит, ты расплачивался с господами не только своим здоровьем, счастьем, но и нашим — здоровьем и счастьем твоих детей. Пришла независимость, а ты гнул спину на тех, кто занял место прежних эксплуататоров, прикрываясь словами о «национальном благе». Ты платил и платил, но что же, скажи, получили мы? Нам на долю выпало выслушивать твои жалобы, не смея возразить или хоть пожаловаться самим. И мы теперь тоже

* Высокая Порта — принятое когда-то название правительства Османской империи.

платим. Сменился фасад, названия, лозунги, но сущность не очень-то изменилась. Конечно, слово «феодальный» поменяли на более современное, соответствующее духу эпохи и новым понятиям. А нам хотелось, чтобы положение изменилось в корне, наши жалобы были бы услышаны и многое пошло по-другому. Только все осталось как было, просто одни люди заняли место других да подновили вывески. Что же нам оставалось делать? Вот и жуем сегодня алкам* да молим Аллаха спасти наших сыновей, пусть хоть они вкусят не горе, а радость. Ну, а жизнь в наши дни, пожалуй, пострашнее, чем раньше. Любой из вас мог на одну лиру купить еды для целой семьи, дневного заработка хватало чуть ли не на неделю. Нынче за одно яйцо выкладывай сорок киршей, а помидорам — недавно еще кило шло за пять киршей — цена теперь две лиры и больше. Ты пойми, отец, человек сегодня не может прокормить семью. Ты улыбаешься? Нет, не завидуй нынешнему феллаху, он тянет и тянет свою лямку. Зато бесчестные чинуши, злоупотребляющие служебным положением, и прочие паразиты процветают по-прежнему. Знаю, времена переменялись, только для нас их обличье сурово и мрачно. А жаль, не оставил ты мне ничего на черный день! Было бы чем внуков твоих поддержать, да и сам бы я хоть ненадолго вырвался из тисков. Правда, расставаясь с семьей перед военной службой, я тоже ей ничего не оставил. А двадцать лир солдатского жалованья — их не хватит даже на гуталин. И все-таки я умудрялся посылать пятнадцать лир Зейнаб и детям. А ты говоришь: откладывай на черный день! Нет, я вовсе не мот. Ты меня знаешь — не пью, не играю в карты, на женщин не трачусь. Опять улыбаешься? Знаю, знаю, хочешь напомнить, мол, в самые трудные дни ты вкалывал с утра до ночи да еще сэкономил на всем, хоть зарабатывал тогда меньше меня. Так-то оно так. Но ты не был кругом в долгу у торгашей-кровососов, а мне от них никуда не деться. Другие пришли времена, отец. Раньше, наверно, у людей еще оставалась

* Жуем алкам — присловье: образ человека, жующего горькие плоды алкама — символ горестной, трудной судьбы.

совесть, уважение к соплеменникам. Ты бы сегодня только диву давался, глядя на нашу жизнь... Нет, не думай, я вовсе не сгущаю краски. И в мыслях этого не имел. И не оправдываюсь тоже. Как бы тебе сказать...»

Пришлось прекратить этот мысленный спор с моим покойным отцом. На лбу у меня выступил обильный пот, стало вдруг тяжело дышать, и в горле пересохло. Плохо дело, как бы мне тут не помереть. Нет, я должен выжить... ради моих детей... Спор с отцом вымотал меня куда больше, чем приход медсестры. Комната вдруг завертелась, и я провалился в тартарары, оставив где-то наверху госпитальную палату. Она скрылась в сером тумане, растворилась, исчезла...

IV

Я в плену! Я узнал об этом не сразу. Узнал случайно. А может, не такая уж это была и случайность? Однажды я обратил внимание, что сестра, открыв дверь в мою палату, произнесла несколько слов на каком-то непонятном языке. Но кое-что я вроде разобрал и понял потом: она говорила на иврите. Обычно, давая мне лекарство, она была необычайно сдержанна, но в тот день на губах ее играла улыбка, правда, она старалась ее скрыть. Платок прикрывал нижнюю часть ее сурового лица, и все же я залюбовался красотой девушки. Говорят, еврейки — блондинки, у них особой формы нос, но эта походила на моих соплеменниц, лицом ничуть не отличалась от наших девушек. И я отважился снова задать ей вопрос, который не раз задавал в последние дни:

— Где я?

Сестра молча посмотрела на меня, я пытался прочесть ответ в ее глазах — тщетно. Глаза ее напоминали стоячие пруды — неподвижные, непроницаемые. Мне показалось, будто за всем этим — какая-то тайна и она вот-вот раскроется.

— Ответь мне, где я? — настойчиво повторил я. — Вот уж который день я спрашиваю об этом, а ты ничего не отвечаешь! Ты понимаешь меня?

Ответом снова было молчание. Я долго смотрел на нее и волновался все сильнее; это мое волнение походило на морской прибой, он то и дело разбивается о берег, не прерывая своего размеренного натиска. Заметив, что медсестра собирается уйти, я повысил голос:

— Прошу тебя, ответь мне... Только не молчи. Неужели

человек не вправе знать, где он находится, пусть даже он чувствует приближение смерти? Что означает всегда твой безмолвный уход, твое обращение со мной? Я ранен, совершенно беспомощен... Неужто для тебя это ничего не значит?

Нет, я уже не ждал от нее ответа. Сейчас она, как всегда, хлопнет дверью. Я ощутил, как дрогнули стены и потолок госпитальной палаты. Бесплезны слова, бесплезны! Лучше прикусить свой язык: молчать, не говорить ни слова, сдержаться. Но я не сдержался, слова хлынули бурным потоком, мчались, как табун диких скакунов.

— Я не могу больше... Даже звери так не ведут себя. Это больница или камера пыток?

Приподняв голову, я вскрикнул и потерял сознание. Когда я очнулся, в комнате было совсем темно, и я не знал, что со мной. Осторожно повернув голову, я почувствовал острую боль. В луче света, пробивавшемся сквозь дверную щель, я разглядел рядом с кроватью тарелку и немного еды на ней. Что за еда — непонятно. Мой взгляд был прикован к двери: быть может, кто-нибудь войдет? Явилась бы хоть одна живая душа! Одиночество особенно сильно угнетает больных и немощных. Я мечтал о приходе сестры. Мне чудилось, будто с ее приходом распадется стена комнаты и появится брешь, а за нею мне откроется будущее. Так пусть же приходит молча, не нужны мне ее слова.

Но когда дверь наконец открылась, ко мне вошли двое мужчин — один с какими-то бумагами, другой с фотокамерой. Трижды они спрашивали меня о чем-то, но я молчал, не сводя глаз с того, который первым подошел к моей кровати. Тогда высокий блондин, он встал рядом с кроватью, изо всей силы ударил меня по голове.

— Не надейся... Раненых и больных тоже пытаются. Упорствуют только идиоты...

Наступила недолгая пауза. Слова блондина врезались мне в мозг. Нет, от этой беспощадной, страшной правды не отмахнешься. Передо мной вдруг замелькали картины прошлого... Вот он, тот роковой день, когда я услышал о войне... Лица родных, друзей, Низара глядели на меня словно из

серой трясины отчаяния. Потом я увидел свой дом... скалу, у которой шел бой... Я прыгаю в окоп, над головой свистят пули... Рядом взрывается мина, взметая к небу фонтан земли...

Облизнув губы, я огляделся.

— Значит, я в плену?

Голос мой дрогнул. Рушилась опора, на которой держалась моя вера в себя, в жизнь.

— А ты не знал об этом?

Не помню, сколько прошло времени, прежде чем я заговорил снова. Может быть, целая вечность. Допрашивавший меня мужчина — он насмешливо щурился, разглядывая меня, — вдруг захохотал:

— Ты и вправду не знал?

— Я столько раз спрашивал, где я, но мне так никто и не ответил. Откуда я мог знать?

Слезы душили меня, голова лопалась от боли. Я изо всех сил старался взять себя в руки. Вдруг я снова увидел моих однополчан. Капитана — мы вместе с ним вытаскивали из воронки Низара... Рядом темнели очертания скалы. Мы дрались. Не щадили себя. Шли в атаку, я ощущал сердцем победу...

Снова раздался голос мужчины:

— Теперь ты все узнал. Итак, твое имя?

Я взглянул на него: шляпа надвинута на лоб, под ней глубоко запавшие глаза, искривленный в насмешке рот.

— Мухаммед аль-Масуд, — произнес я.

Он задавал новые вопросы. Я не торопился с ответами, старался спрашивать сам:

— Как я попал в плен?.. Мои товарищи живы?.. Они тоже в плену? Где, собственно, я нахожусь?.. Что с Голанами?..

Выговаривал слова, а сам думал: «Неужто опять покидают родные деревни наши женщины, старики, дети, чтобы примкнуть к тысячам и тысячам изгнанников, ютящихся в палатках? Что сделал я, все мы, чтоб не допустить этого?.. Наши дети, будущие поколения — какое наследство оста-

вим мы им? Горечь позора и унижения? Новые оккупированные земли?»

Я заплакал невольно. Вдруг черной молнией мелькнула мысль: «гости» мои явно злорадствуют, глядя на меня. Так оно и было.

— Не надейся,— сказал мужчина,— разжалобить нас слезами. Твою участь могут облегчить только точные, исчерпывающие ответы. Слушай меня внимательно. Итак, какое у вас оружие? Третий, и последний, раз задаю тебе этот вопрос. Не ответишь, пеняй на себя...

Я и не заметил, как «отключился». На обычные вопросы — мое имя, имя отца и матери, местожительство и прочее — я отвечал без запинки. А сам тем временем ждал: когда же они начнут допытываться о более важных вещах? И вот прозвучали вопросы о вооружении и численности моей части. На них отвечать я не стал. Я понял: солдат и в плену солдат, защитник отечества. Мой долг — ни за что не открыть врагу сведения, которыми он мог бы воспользоваться во вред нашей армии и родине. Долг священный! Выходит, я могу еще послужить отчизне, бороться с врагами даже здесь, в их логове. Тяжелораненый, искалеченный, я буду сражаться, буду вести свою войну. В меня словно влились новые силы...

Взяв себя в руки, я твердо взглянул на мужчину и ответил решительно:

— Вопросы эти ни к чему! Сами знаете, на них не принято отвечать.

— Твое упрямство дорого тебе обойдется!— крикнул блондин с яростью.— Мы сумеем узнать все, что нам нужно. Увидишь, ты скоро расколешься и заговоришь как миленький.

— А я умею терпеть и молчать. Делайте со мной что хотите.

Весь мир преобразился, стал каким-то неузнаваемым. И я вроде напрочь выпал из него. Иногда я ненадолго приходил в сознание. Тогда мне казалось, будто я сплю, но вот-вот должен проснуться. Я даже привык к этому ощущению, толь-

ко весь съеживался, как бы желая вырваться из сжимающих меня тисков, готовых раздробить мне череп.

Временами меня посещали грезы. Вот Зейд скачет на белом коне, он проносится мимо меня, легкий, как ветер, точь-в-точь безвинный ангел на светозарном скакуне. Зейнаб, улыбаясь, бежит по лугу, я бегу следом, хочу догнать ее и никак не могу. Вот мы уже с нею на прекрасных улицах Дамаска, мы бежим, бежим по городу, похожему на райский сад. Да, этот дивный сад разбили горожане в честь павших в боях за родину и замученных в плену. Теперь наши ноги по щиколотку в воде реки Барады, опоясавшей Дамаск серебряным кушаком. Тополя в саду будто юные девушки; гора Касийун похожа на многоцветное пламя. Мы снова шагаем по улицам, счастливые и радостные. Рядом с нами мои товарищи по оружию. Люди — я узнаю вдруг в них своих земляков — глядят на нас с гордостью и любовью...

Я жил в диковинном мире — в мире грез. Сон — великий художник, он облагораживает все окружающее нас, скрашивает его пороки. Во сне все прекрасно... Всякий раз, когда мне было плохо, когда я сталкивался с ложью, лицемерием и прочими мерзостями, я засыпал, и тоскливая чернота сменялась фейерверком красок, я попадал в иной мир — светлый, чистый, сверкающий всеми цветами радуги.

Я уверен: рано или поздно победа будет на моей стороне. Я страстно стремлюсь к ней. Пора красивых снов пройдет, часы забытья останутся лишь в глубине памяти, наступит время борьбы — настоящей схватки с силами зла.

V

В ту ночь сон так и не нашел дороги к глазам Зейнаб. Она обнимала сына, нежно прижимая его к груди. Все глядела и глядела на него. Керосиновая лампа освещала комнату мягким красноватым светом, по дому плыл приторный дух дешевого керосина. Зейнаб смотрела на сына и узнавала черты отца — глаза и лоб, нос и рот отцовские. Теперь вся надежда на ее первенца. Обняв его напоследок, она уложила сына поудобнее на кровати и предалась воспоминаниям, горьким и мучительным.

— Где сейчас Мухаммед? — чуть слышно шептала она. — Что с ним? Был бы только цел и невредим. Раз написали «пропал без вести» — плохо дело. В армии часто о погибшем говорят «пропал без вести».

Но мысль о том, что ее Мухаммед мертв, не укладывалась в сознании. С Мухаммедом в ее душе жила теплота, нежность и сладкое волнение любви. Он для нее символ мужества и верности, привязанности к дому, любви к детям. Да, Мухаммед — настоящий мужчина. Им можно гордиться, ведь он никогда ни перед кем не склонял головы. Выносливый, терпеливый, находчивый, добрый, искренний. С ним испытала она в жизни и радость и горе. Но как бы ни было трудно, они всегда жили достойно, честно. Однажды в разгар лета в Кувейте он с товарищами решил пересечь пустыню; когда сломалась машина, все, кроме Мухаммеда, не вынесли страшного зноя и жажды и угодили в больницу, а он двинулся дальше на другой машине. Куда бы ни уезжал Мухаммед, он всегда возвращался к ней еще более неж-

ный, любящий и верный. За годы их супружества у них почти не бывало размолвок. Нет, невозможно поверить, что ее Мухаммеда нет в живых. Она знала — он выживет, пройдет сквозь все испытания и вернется домой. Зейнаб будет ждать его сколько угодно.

Стоило ей подумать об этом, и у нее сразу поднялось настроение, она улыбнулась. Сердце гулко забилося, кровь забурлила в жилах, словно вновь возвратилась юность. Она вдруг ощутила, как в теле ее закипает жизнь, бутоном прорастает желание. Коснулась ладонями груди, живота, провела вдоль талии. И как бывало давно, в ту пору, когда ее переполняло счастье, Зейнаб принялась восстанавливать в памяти каждое мгновение первых дней их семейной жизни.

А вдруг Мухаммед сейчас спешит домой?! — подумала она. Тоска по любимой заставила его вырваться на денек-другой, вернуться домой, в свою постель, стоило ему раньше лишь прикоснуться к ней, и усталости, хандры как не бывало... Все очень просто: его не увидели сразу после боя и решили, мол, он погиб, объявили пропавшим без вести. А он жив и тем временем спешит домой, ведь Мухаммед так ее любит. Для него быть подолгу вдали от нее — сушая пытка. Сколько раз Мухаммед сам рассказывал Зейнаб, как мучительна, невыносима разлука с родиной, с семьей, каково ему было без нее на чужбине. Вспоминал, как его сжигал стыд и чувство вины, когда ему удавалось посылать домой только двадцать сирийских лир. Конечно же, для семьи это жалкие крохи. Заветной мечтой его было съесть вместе с ними по кусочку муджаддары*. Ведь она куда вкуснее бурды, именуемой «томатным соусом» с кусочками батата**. Ему приедалась чужая пища, вдобавок ее нередко подавали в горшке, один вид которого отбивал аппетит... Конечно, Мухаммед истосковался по пище, приготовленной ее руками. Зейнаб теперь остается только ждать его прихода. Вот он отворяет дверь. Запыленное лицо его сурово и тревожно.

* Муджаддара — кушанье из риса и чечевицы с маслом.

** Батат — сладкий картофель.

Они бросаются друг другу в объятия и замирают, потом целуются, плачут от счастья...

Эта мысль расцвела в ее душе и стала расти, как растут деревья весной, овладев всем ее существом. Ей чудилось, будто она видит мужа где-то далеко-далеко на дороге. Он идет пешком, разбитая обувь натерла ноги, он снимает ее и идет босиком, а земля, усеянная камнями и колючками, беспощадна, безжалостна. Ему больно, но он идет, кровь выступила на израненных ногах. Споткнувшись, он ударяет большой палец о камни, срывает ноготь. Крик боли застревает у нее в горле. Мухаммед идет домой и все время твердит ее имя... Вот он уже на пороге. Тоска в его глазах сменяется радостью, счастьем. Она обнимет его, вымоет ему ноги теплой водой, вытащит впившиеся в подошвы шипы, смажет целебной мазью раны... Все изменится с его возвращением. Дети будут играть с ним и веселиться, и старый дом радостно запляшет. Каждая вещь обретет свой истинный смысл, вкус, цвет. Жизнь станет жизнью, дом — домом, люди — людьми.

Девушкой она ждала его годами, скрывая от окружающих свою любовь, терпеливо выслушивала ворчание родителей, требовавших, чтобы он заплатил наконец калым и купил дом. Ожидание было тяжким бременем для них обоих, но другого выхода не было, оставалось работать и ждать. Любовь помогает человеку преодолеть любые испытания, дает ему силу творить чудеса. Зейнаб любила Мухаммеда с детства. Они выросли в одной деревне, встречались постоянно — то на улицах, то на свадьбах односельчан, — и взгляды их были полны тайного смысла. А когда выросли, поняли: сердца их бьются в лад. Тяготы и горечь повседневной жизни легче перенести рядом с любимым и ради него. Сколько отрадных, счастливых мгновений минувшей юности припоминала Зейнаб! Как отчаянно ревновал ее Мухаммед к каждому, кто смел посвататься к ней! А разве не любовь, вопреки обоюдному их желанию, увела его на чужбину за заработком, чтобы они могли наконец воссоединиться? Зейнаб вспомнила и тот день, когда Мухаммед бросил гневные слова в лицо ее отцу, отказавшемуся выдать дочь за неимущего. Нескончае-

мой вереницей тянулись перед ней картины прошлого... Но вот она снова представляет себе, как Мухаммед подходит все ближе к деревне. Вон он идет в темноте по улице совсем рядом с домом. Стук ее сердца заглушает шаги Мухаммеда. Она сбрасывает одеяло, тихонько, чтобы не потревожить спящих малышей, встает, подходит к двери, готовая в любую секунду распахнуть ее и встретить мужа у родного порога.

Она встряхивает лампу — пусть намокнет фитиль и в комнате станет светлее. Старая, отжившая свой век керосиновая лампа чадит, обгоревший фитиль, потрескивая, роняет искры. Зейнаб надевает платье; издали доносится собачий лай. Верный Хамран, прикорнувший за дверью, тотчас откликается. Прислушавшись, Зейнаб понимает — пес бежит к дому. Теперь уж она волнуется всерьез. Растерянная, застыла у двери, ее охватывает страх, кровь отливает от побелевшего лица. Мысли ее путаются. Кто там? Это явно чужой человек направляется к их дому среди ночи. Знает небось, одинокая женщина беззащитна. Что же делать? Зейнаб чувствует, как у нее дрожат ноги. Она приворачивает фитиль, в комнате становится темно. Что делать? Где спасение? Что за чужак кружит там возле дома? Наверно, кто-то из их деревни — знает здесь все тропинки. Но кто?.. Она прислушивается к своим мыслям. И вдруг ее осеняет: Салех аль-Ахмед! Ведь он даже пытался свататься. Нет-нет, он неглуп и не решится на такой шаг. Кто же тогда? Она перебирает мысленно имена, стараясь припомнить все, что связано с ними. Первым возникает перед ней лицо Ахмеда аль-Хасана. Он вечно ощупывает ее своими маслянистыми глазами, жадно впиваясь взглядом в белоснежную шею ее и высокую грудь, будто пытается проникнуть взором сквозь одежду. Что делать, если чужой мужчина ворвется в дом? Она бессильна перед лицом опасности. С надеждой смотрит она на Зейда, прося у него защиты как у ангела-хранителя. О горе, некому оберечь ее! Некому!.. Но защищаться надо. Как? Чем? Вдруг она замечает единственное «оружие» в доме — похожую на копье толстую палку с гвоздем на конце.

Она снимает ее со стены, осматривает и берет наизготовку. «Копье» придает ей уверенность. Собравшись с силами, она становится у самой двери, прислушивается к каждому шороху. Собачий лай замирает вдали. И шагов больше не слышно. «Что это было? — думает она. — Может, с ним что-нибудь случилось?» Зейнаб возвращается в постель, кладет палку так, чтоб была под рукой, и пытается успокоиться. Но у нее ничего не выходит: стучат зубы, все тело трясет противная мелкая дрожь, ее бьет озноб. Она натягивает на себя одеяло и прижимается к Зейду, не сводя настороженного взгляда с двери, просвечивающей как решето. Кажется, и дверь тоже дрожит от страха. Тряслись деревянные створки, прильнувшие одна к другой. Ей даже почудилось, будто они стараются поплотнее прижаться друг к другу, чтобы защитить от напасти Зейнаб и ее несчастных детей, сохранить незапятнанной честь их отца. Зейнаб пытается представить себе, что же происходит там, за дверью...

Когда собаки перестали лаять, успокоился и Хамран. Зейнаб услышала, как собака укладывается возле двери. Ночная тишина снова вступила в свои права. А Зейнаб все никак не могла успокоиться, размышляя о странном поведении пса. Ей стало опять одиноко и грустно. Хоть бы снова услышать загадочный шум, ощутить его всем существом, чувствуя, что вот-вот откроется дверь и войдет Мухаммед. Она поднялась и заходила взад-вперед по комнате, то и дело подходя к двери и прислушиваясь. Как нужны ей, одинокой и слабой, помощь и сочувствие! Кто возьмет под свою защиту женщину, муж которой пропал без вести? Осиротевшим малышам необходим человек, который смог бы их содержать, опекать, воспитывать. Как нужен детям тот, кто заменил бы им отца! Она подняла руку и вытерла слезы, катившиеся из глаз. Ладонь ее вдруг застыла, потом задрожала, нащупав порезавшиеся на щеках морщины.

Великий боже! Она уже почти старуха, разве дряблое тело ее может прельстить мужчину! Кто захочет поцеловать ее, связать с нею свою судьбу! Она вдова и нужна только своим

детям. Зейнаб вытерла слезы: что поделаешь, такова вдовья доля. Осталось лишь ползти по дорогам подобно никчемной твари, не вызывающей ни жалости, ни сострадания. Ползти к могиле. В полном изнеможении Зейнаб затихла, съежилась в постели. Ее окутала студеная, пустынная ночь. Она погладила по головкам малышей, поцеловала их руки, приложила маленькие теплые ладошки к своей щеке. И вдруг забылась тяжелым, тревожным сном.

Лишь когда ласточки звонко зачирикали, Зейнаб очнулась и поняла: уже рассветает, надо вставать и готовить детям еду. Как бы там все ни обернулось, пока она жива, дети голодать не будут. Она собиралась встретить новый день, оставив ночные свои переживания и страхи в остывавшей постели.

VI

Вот уж три дня Умм Сулейман не была у Зейнаб и потому не знала даже, что отвечать Ахмеду аль-Хасану, спросившему о детях «покойного», о Зейнаб — как они, не нуждаются ли в чем. Он повторил свой вопрос, и Умм Сулейман начала было ему отвечать, но тут ее одолел жестокий приступ кашля. Хворь эта — следствие долгой, тяжелой жизни, скитаний, прозябания у чужих дверей, нищеты и одиночества. Стараясь не опускаться до попрошайничества, она в знойную пору страды подбирала оставшиеся на полях колоски, помогала погонщикам мулов, возившим снопы на гумно, и они давали ей горсть зерна. А в разгар зимы, когда у нее, всеми забытой, кончалась еда, голод выгонял ее из лачуги, в которой она ютилась, и заставлял обивать пороги богатых домов, где ей, глядишь, что-нибудь перепадало. Сын ее эмигрировал и не подавал о себе вестей, муж умер в бедности, и ей приходилось самой заботиться о себе.

Всеми отринутая, она влачила свои дни в заброшенной, нишей деревушке. Под силу ли ей было вырваться из заколдованного круга, куда она угодила с самого своего рождения! И она, не ропща, смиренно шагала по начертанному Аллахом пути, близясь к концу его — неглубокой яме, готовой поглотить ее тощее, крохотное тело, испещренное ветхозаветной татуировкой.

Оправившись от приступа кашля, Умм Сулейман заговорила, палка дрожала в трясущейся ее руке:

— Я больна, три дня не была у Зейнаб. Она не заглядывала ко мне. Понятное дело, ей ли, несчастной, осиротевшей, расхаживать по чужим домам. Да поможет ей Аллах.

— Если есть у нее в чем нужда,— сказал Ахмед аль-Хасан,— передай, я к ее услугам. Ради Аллаха, Умм Сулейман, скажи ей, я выполню любую ее просьбу.

Умм Сулейман не знала, чему больше удивиться: сладкому ли голосу Ахмеда аль-Хасана, или небывалому его великодушию. Растерявшись, она лишь невнятно поблагодарила хозяина лавки, воздав хвалу доброте его и человечности. Умм Сулейман положила маленькую монетку на немытый деревянный прилавок, давно утративший свой природный цвет, взяла коробку сигарет и еще больше удивилась, когда Ахмед аль-Хасан возвратил ей деньги.

— Возьми, Умм Сулейман,— сказал он,— на сей раз не надо платы.

Да что с ним в самом деле? Сколько раз она просила у него в долг, он всегда отказывал. Откуда же вдруг такая щедрость? Умм Сулейман взяла свои деньги и ушла, славословя великодушие хозяина.

Направившись было к Зейнаб, она вдруг остановилась и застыла посреди дороги. Что за странные перемены в ухватках этого лавочника Ахмеда? И тон — просто ушам не веришь. А глаза? Как у него блестели глаза!.. «Ахмед аль-Хасан,— думала она,— прямо сиял, говоря о Зейнаб и ее детях. Сулит им все, чего душа пожелает. А ведь раньше отказывался им ссудить и щепоть чаю, горсть сахара. Так было при жизни Мухаммеда аль-Масуда. Отчего же теперь все переменялось?..» Умм Сулейман прикидывала и так и этак и решила: не иначе как участь бедной вдовы и ее сироток растрогала пожилого лавочника. А может, его укоры совести заели. Заодно, глядишь, этим благодеянием скостит себе адские муки за прежние грехи. Встретив Зейнаб, она сказала:

— Эх, жизнь наша горькая! На все воля Аллаха.

— Ты чем-то озабочена, тетушка Умм Сулейман?

— Нет, дочка.. Нет.

— Что-то ты нынче больно задумчива.

— Все думаю о деяниях Аллаха, дочка.

— Ну, стало быть, все хорошо...

— Да вот сосед твой Ахмед аль-Хасан велел спросить,

нет ли у тебя в чем нужды, он, мол, всегда к твоим услугам.

— Ахмед аль-Хасан?!

— Ага, в том-то и дело, я сама удивилась. Как услыхала от этого лавочника такие речи, меня словно кто дубиной по голове огрел.

— С каких это пор Ахмед аль-Хасан собирается нам помочь?

— Ей-богу, дочка, на все воля Аллаха. А ну как Аллах повелел ему творить добро! Чего не бывает на свете?

— Уж нас-то ты хорошо знаешь, Умм Сулейман. Мы милостыню не принимаем. Сколько раз просили, бывало, у Ахмеда аль-Хасана в долг, он вечно отказывал. Не в его это правилах. Он и собаке кусок лепешки даром не бросит. Небось у него что-то на уме.

— Понимаешь, дочка. Зашла я к нему поутру коробку сигарет купить, тут он мне и говорит: потолкуй, мол, с Зейнаб.

— Похоже, подобрел он как-то. Поблагодари его, нам, слава Аллаху милосердному, пока хватает...

— Нет бога, кроме Аллаха. И благодеения все по его милости.

Умм Сулейман благоговейно перебирала четки, твердя краткую молитву. Она взывала к всевышнему, а дети шумели и возились рядом, она не расслышала даже, как Зейнаб сказала ей перед уходом:

— Не спускай, тетушка, глаз с детей, а я пойду за водой. Вернусь засветло, долго не задержусь.

Зейнаб ушла, маленькая Фатима, топоча босыми ножками по земляному полу, такому же грязному, как ее старенькое платье, гонялась за курицей. Та убегала, распустив крылья, малышка улыбалась — вот сейчас я тебя поймаю... Зейд удирал от своего братца, который с ревом бегал за ним, норовя отнять у него кусок хлеба. А старушка знай себе молилась, шевеля тонкими губами со следами давней татуировки.

Вдруг Зейд споткнулся, упал, ударившись лицом о камень, и весь залился кровью. Умм Сулейман вскочила, подняла плачущего мальчугана и ахнула — у него был сломан зуб, верхняя губа рассечена.

Подхватив Зейда на руки, она поспешила в лавку Ахмеда аль-Хасана — пусть поможет остановить кровь. Других детей, тоже ревавших в голос, она оставила дома. Когда вернулась Зейнаб, оба лежали на полу и чуть слышно хрипели, обессилив от плача. Умм Сулейман и Зейда она не нашла. Страх и гнев охватили ее.

Она вылила воду в кувшин, взяла на руки Фатиму и вытерла ее заплаканное личико.

Расспрашивать девочку было бесполезно — что она может сказать? Лучше уж поспешить на поиски Зейда. Она взяла за руку младшего сына, встала и, прижимая к груди Фатиму, направилась к двери. Но, выйдя за порог, едва не упала без памяти. Навстречу ей шагнул лавочник Ахмед аль-Хасан с Зейдом на руках, позади, виновато прячась за широкой его спиной, стояла Умм Сулейман. Зейнаб задрожала, еле удержав рвавшийся из груди крик, с трудом одолела нахлынувшую слабость и, боясь упасть, прислонилась к стене. Потом, взяв себя в руки, она глянула на Ахмеда аль-Хасана. Тот стоял выпрямившись, держа на руках Зейда, и улыбался, как-то странно подергивая тонкими усиками.

VII

Я пытался понять, насколько серьезно мое состояние. С большим трудом я шевельнулся, попробовал легонько опереться на койку. Снова нахлынула боль. Подвигал правой ногой, она показалась на удивление легкой... Нога ампутирована выше колена! Итак, я приговорен — костыли либо протез. О работе нечего и думать: я калека! Горе сломило меня. Все вокруг размыла пелена слез, я рыдал как ребенок. Но слезы облегчили мне душу. Успокоюсь немного, я вытер глаза. И тут меня пронзила мысль: а что с левой ногой? Она была как чужая, я даже шевельнуть ею не смог! Нога оказалась снизу доверху закованной в тяжелую гипсовую броню. Но как бы то ни было, она есть!

Что ж, с ногами вроде ясно. А руки? Левая перебинтована и подвязана к шее, но правая, слава Аллаху, цела. Я двигаю ею, опираюсь на нее. Правая рука в порядке, это уже немало! А что с головой? На ней тоже повязка. Осколок? Пуля? К счастью, похоже, ничего серьезного, иначе я не мог бы двигаться, говорить, думать. Слава Аллаху, и голова в порядке. Это отрадно, но досталось мне здорово. Вскоре вернулась боль, хотя я старался лежать неподвижно. И тут возникла отчетливая мысль: а не лучше ли мне умереть?

Человек ведь живет ради дела. А я — чем я смогу заняться теперь? Какая работа будет мне по силам? Я должен, должен работать! Пусть я калека, сидеть ни у кого на шее не стану. Мало ли на свете людей, живущих на чужой счет, и горя им мало. Иные даже спекулируют на своих увечьях, мне это кажется отвратительным. Не хочу, чтоб меня жалели, одаряли из милости лепешкой, кое-какой мелочью, даже

сочувственным взглядом. Нет, лучше смерти! Я люблю труд и буду работать. Мысль о том, что придется стать обузой для семьи, сводит меня с ума. Чувствую свое бессилие и ропщу на всех и вся, даже на самого Аллаха. Как мог творец допустить такое? Зачем?.. Дальше этого вопроса я не пошел. Закрыв глаза, успокоился чуть и стал ждать.

Вошла сестра с непроницаемым лицом, за ней двое мужчин волокли носилки. Громкий голос прокричал что-то непонятное. Я молчал, смотрел поверх их голов. У меня даже страх пропал. Наверно, мысли мои стали путаться. Прошло какое-то время, прежде чем я обнаружил, что взгляд мой прикован к носилкам. Я посмотрел вопрошающе на мужчин, и тут они подхватили меня и бросили на носилки. От сильной боли я закричал и потерял сознание. Потом уже, придя в себя, понял, что нахожусь в машине. Вокруг кромешная тьма. Тряска причиняла мне адскую боль. Слезы комом подкатили к горлу. Я попытался сорвать или хотя бы ослабить повязку на глазах, это мне не удалось. Пробовал нащупать рядом хоть какой-то предмет — все вышло бы облегчение. Даже о койке своей вспоминал теперь с сожалением. Каждое движение отзывалось приступом боли. Что ж, придется набраться терпения. Чтобы отвлечься, я стал следить за ходом машины — грузовика, в каких обычно перевозят заключенных. Мы ехали по извилистой дороге, на поворотах грузовик заносило — видно, скорость была большая. Ехали долго, дорога, скорее всего, проходила по малонаселенным местам. Разноголосый гул, который слышишь, бывало, в многолюдных городках, раздавался лишь изредка. Машину часто бросало, она подпрыгивала на ухабах, ныряла в ямы. Я устал. Раздражение все усиливалось, боль не проходила. Я почувствовал головокружение, меня укачивало. Вдруг что-то грохнуло, кузов подбросило, наверно, грузовик с ходу провалился передними колесами в какую-то яму. Боль в ногах стала невыносимой, я вновь потерял сознание.

... Кап... Кап... Кап... Капли монотонно ударяли меня по лицу. Вскрикнув, я очнулся. Страшная тяжесть сдавила

грудь, задыхаясь, я жадно хватал ртом горячий, раскаленный зноем воздух и все не мог надышаться. Где я? Вокруг ничего не разглядеть, сквозь какой-то туман проступали очертания предметов, словно рождавшихся из тяжелого мрака. Я был втиснут в некое подобие сундука, крышка его наполовину закрывала мою грудь. Постепенно я начал различать висевшие на стенах плети, дубинки, клещи. Я лежал на полу, сверху с подавляющей размеренностью капала вода. Напрягшись, я рассматривал странное, невероятное место, куда занесла меня судьба. Раны мои еще не зажили, гипс по-прежнему сковывал ногу, подвязанная к шее рука мешала двигаться. Как мне вести себя в этом непонятном «госпитале»? Ценой каких мук оттягивается моя смерть? Я вспомнил все, что мне рассказывали о Женевской конвенции и правилах обращения с пленными, особенно с ранеными. Здесь, видно, этот документ не в почете.

И вдруг я едва не рассмеялся: это в Израиле я требую гуманности и уважения прав человека? Надеюсь на сострадание? В Израиле, где правят достойные преемники Гитлера, я, пленный араб, говорю о гуманности и соблюдении права? Вместе с отрезвлением пришли спокойствие и решимость. Восстановив в памяти прежние допросы, я понял: нет, никаких тайн врагам выведать не удалось. Выходит, я держался стойко. Сердце мое переполнило гордость — я выдержал! Значит, выдержу и эту пытку капающей водой и горячим воздухом. Мое пребывание здесь обретает теперь смысл, у меня появилась цель, ради нее я готов на любые муки. Соппротивление, борьба — в этом отныне смысл моей жизни. Я громко крикнул, потом еще и еще — пусть услышат и отзовутся. Ответом мне была гулкая тишина. Крикнул еще раз, но тут боль снова ворвалась в меня с грохотом, как поток камней в горах, и я стал задыхаться от жары. Чем больше ворочался я, тем сильнее терзала меня боль. Нет, напрягаться, шевелиться нельзя, надо успокоиться. Я попробовал сдерживать охватившее меня волнение. Боль утихла, я вздохнул с облегчением и открыл глаза — вокруг тьма кромешная. Что бы ни произошло, я должен быть спокоен, никаких без-

рассудств. Спокойствие и трезвость — мое оружие. Я должен молчать. Тревога моя вдруг улеглась. Как странно, подумал я. Бесплотные крылья мечты поднимают меня ввысь и уносят отсюда в родные края... Тихонько дует теплый ветер. Вот мой дом. Стены, сложенные из камня, защищают моих малышей от зноя, от холода и недобрых глаз. Камни стоят плечом к плечу, в отсутствие хозяина ограждая его семью, оберегая ее. Глядя на эти камни, я вспоминаю скалу, защищавшую меня на фронте от пуль. Кто обороняет ее сейчас от врага? У меня ком подкатил к горлу. Наверно, там, у скалы, мои боевые друзья? Что с ними? Продолжают ли драться с врагом? Я вспомнил Низара. Вспомнил тот день, когда он принес мне сигарету. Потом словно воочию увидал, как мы вытаскиваем его из окопа, засыпанного взрывом. Картина сменяется: вот Низар уговаривает меня взять у него денег взаймы и отослать их детям; жаль, не успел я этого сделать. Вспомнился мне и наш немудреный однодневный отпуск: мы провели его, гуляя по ближней дороге и жалуясь на нашу злую судьбу... Слезы катились по моим щекам, смешиваясь с каплями воды, падавшими сверху. Эти капли вернули меня к действительности, напоминая: враг испытывает мою решимость и стойкость. Но человек — не слиток железа, он не все способен выдержать. Я усталился в потолок, с которого сочилась вода. И вскоре обнаружил кончик трубы, откуда стекала по капле вода. Я видел, как капли набухали, росли и падали, отрываясь от края трубы. И вдруг мне почудились на потолке огромные глаза Зейнаб, полные слез. Моя Зейнаб! Это слезы верности, слезы любви и страдания. Я не посмел сказать ей ни слова, не смог утешить ее. Ведь она плакала по моей вине... Тут я увидел, как открылась дверь и вошел солдат с автоматом. Ствол его направлен прямо на меня, солдат готов был открыть огонь. Он обошел вокруг меня, пристально глядя мне в глаза, изучая мое лицо. Я шевельнул рукой, пытаясь поднести ее ко лбу, он проследил за моим движением, сразу насторожившись. Казалось, это хищный зверь впился глазами в мою плоть, сейчас он растерзает меня, урвет свой кусок и удалится. Я ждал

- Ну, как тебе здесь?
- Где? Здесь?
- Да.

Удивление сковало мне язык. Он повторил свой вопрос и снова начал кружить возле меня. Я изумленно следил за ним: что нужно этому посланцу смерти? Вдруг он застыл на месте, навел на меня автомат и заорал:

- Ни с места!

Он что, ошалел?! Мне и так с места не сдвинуться.

Я с изумлением смотрел на него. Не опуская автомата, он шагнул ко мне.

— Чтоб выпустить из тебя душу, хватит одной пули, ясно? — спросил он. — Хочешь жить и вернуться к детям, не тяни! Пораскинь-ка мозгами или вмиг на тот свет загремишь!..

Не успел я ответить, как он повернулся и вышел, хлопнув дверью.

Успокоясь немного, я спросил себя: что же все-таки произошло? Может, здесь есть и другие такие же узники, как я? И солдат просто спутал меня с кем-то? Но почему я ни разу не слышал ни шума, ни голосов? А если дело совсем не в том? Это «если» лишало меня уверенности. Он мог прийти нарочно, чтоб припугнуть меня.

Тут дверь снова открылась, в нее въехало инвалидное кресло на колесиках. Я представил себя сидящим в этом кресле — от жалости и страха у меня перехватило дыхание... Двое сильных, здоровых мужчин подкатили кресло поближе, схватили меня, проволокли по комнате, не обращая внимания на мое искажившееся от боли лицо, и бросили в кресло. Потом резкими толчками покатали кресло, причиняя мне невыносимые страдания.

Вдруг кресло остановилось. Я огляделся, и мне почудилось, будто я перенесся в какой-то иной мир. Некий, пока невидимый человек прикрикнул на моих конвоиров:

— Что вы делаете, скоты?! Не видите, он ранен? Ну-ка полегче!

Слова эти прозвучали для меня неожиданным утешением.

Сердце мое гулко забилося. Уж не снится ли мне все это? Нет, я не брежу. Кресло катили теперь спокойно, осторожно. И вот я оказываюсь перед незнакомцем, который только что спас меня от новых издевательств. Он окинул меня взглядом и улыбнулся. Я поглядел на него с благодарностью, улыбнуться в ответ мне помешала боль.

— Оставьте его и уходите! — снова крикнул он. Потом, подойдя к двери, обошел кресло, развернул его и ввез меня в кабинет. Закрыв дверь, он взял со стола пачку сигарет и предложил мне закурить, поигрывая изящной зажигалкой.

Не устояв перед соблазном, я, преодолевая боль, смущенно взял сигарету и сделал глубокую затяжку. Мужчина вернулся к письменному столу, сел и пристально посмотрел на меня. Это был подтянутый молодой человек в штатском. Плоское лицо его было абсолютно невозмутимым, лишь на губах играла вкрадчивая улыбка.

— Ну как, успокоился? — спросил он.

— Немного.

— Эти типы, что привезли тебя, — грубые скоты. Они будут наказаны. Ты, надеюсь, знаешь, где находишься?

Я хотел сперва ответить ему, но промолчал, продолжая жадно затягиваться горьковатым дымком сигареты.

— Значит, ты спокоен?

— Нет. Не пойму никак, почему вы меня так мучаете. Я ранен, я в плену.

— Не беспокойся. Хотя вы и обращаетесь с нашими пленными плохо, я попрошу, чтобы к тебе относились получше. Ты хороший человек и заслуживаешь доброго к себе отношения. Но и ты должен пойти мне навстречу, как говорится, я — тебе, ты — мне.

— Но чем я могу помочь?

— Два-три пустячных вопроса. Ответишь на них, кроме нас с тобой, никто об этом и не узнает. Мы станем друзьями, договорились?

Тут я услышал легкий стук в дверь. Вошел человек, неся две чашки кофе. Я начинал понимать — со мной говорит опытный следователь. Он взял чашку, поставил ее перед

собой, с наслаждением отпил глоток. Человек, принесший кофе, закрыл за собой дверь. Мы снова остались один на один.

Следователь с улыбкой посмотрел на меня.

— Вкусно,— сказал он, подняв чашку, сделал второй глоток и, не отрывая взгляда от моего лица, снова поставил чашку на письменный стол.— Почему ты не пьешь? Не любишь кофе? Пей, пей, не бойся. Очень приятно пить кофе и затягиваться сигаретой...

Он взял сигарету, плотно сжал ее губами и обезоруживающе улыбнулся:

— Боишься, парень? Думаешь, там яд? Здорово, я вижу, вас напугали. Не бойся.

Взяв мою чашку, он отпил глоток и поставил обратно.

— Теперь ты спокоен? Честно говоря, плохие люди своими дурацкими поступками подрывают нашу репутацию.

Мне захотелось взять чашку, я шевельнул пальцами, потянулся к ней. Ах, как хотелось выпить горький ароматный кофе, медленно опустошая чашку! Вдруг зазвонил телефон, стоявший на письменном столе. Следователь снял трубку, и зазвучавший в ней голос на чистом арабском языке произнес:

— Мой господин, приготовить электрический аппарат?

Рука моя невольно повисла в воздухе. Следователь рассвирепел и крикнул в трубку:

— Нет, скотина, нет. Разве ты не понимаешь, он такой же человек, как и ты?— И, обернувшись ко мне, заговорил серьезно и горячо:— Не бойся. Я противник пыток, к которым прибегают эти скоты. И обращаться с тобой буду достойно. Я отношусь к тебе с доверием, и, конечно, тебя не будут пытать, не будут применять и методы физического воздействия.— Потом, изменив тон, сказал мягко и вкрадчиво:— Я люблю арабов и хочу, чтобы мы с вами жили в мире. Я сам по происхождению араб, и поэтому израильяне меня не очень-то жалуют. Я буду хорошо с тобой обращаться, а ты помоги мне и тем самым поможешь себе самому. А то попадешь к какому-нибудь зверю, уж он церемо-

ниться не станет.— И добавил уже уверенней, допивая свой кофе:— Не бойся, я тебя никому не передам, ты мне нравишься. Пей кофе, быстро все кончим. И я распоряжусь перевести тебя в другое место. Хочешь в общую камеру?

И не успел я ответить, как он сказал:

— Решено. Считаю, твой перевод состоялся. А теперь — к делу. Расскажи-ка поподробнее о вашем вооружении, о пунктах военного обучения. Да, и вот еще: что ты знаешь о дислокации ваших частей?

Выронив сигарету, я взглянул на него с испугом. Он смотрел на меня пристально, выжидая. Наши взгляды столкнулись: казалось, от столкновения этого брызнули искры, вернувшие каждого из нас в свой мир, в естественное свое состояние. Мы вновь оказались по разные стороны баррикады. Я смотрел на этого хитреца с презрением, с отвращением. Он отвел глаза, скрывая полыхнувшую в них ненависть. Было видно, что он борется с охватившим его гневом. Наконец, не теряя самообладания, он заговорил все так же любезно:

— Говори, мы здесь одни, все останется между нами. Клянусь, ни одна живая душа не узнает.

Я промолчал. Тогда он стал нажимать на меня:

— Откажешься, передам тебя другому, он с тобой поговорит по-свойски. Смотри.

И он указал на стену, где висели плети, дубинки и прочие орудия пыток.

— Силой из тебя вырвет все,— продолжал следователь.— Пойми, тебе лучше иметь дело со мной. Другому наплевать, что будет с тобой, с твоими детьми. Ты женат, не так ли? И у тебя дети? Тут есть люди, которым безразличны твои страдания, горе твоих детей. Много ли надо, одна пуля — и конец всем твоим мечтам, самой жизни, труп твой вышвырнут на свалку. Не упрямысь, погубишь себя понапрасну. Твой бессмысленный героизм никому не нужен. Армия ваша разбита, Израиль взял верх. Будь же благоразумен. Обещаю, тебя освободят и ты вернешься к семье. Подумай сам. Тебе

не повезло... Ранение у тебя тяжелое. Мы тебя подлечим, и ты...

Он долго еще говорил, наклонившись ко мне, но я его не слышал. Да, он неплохо знал свое дело, умело нащупывал болевые точки. От жалости к себе я чуть не заплакал, разволновался и сказал ему:

— Ну чего вы хотите от меня? Все, что знал, я уже рассказал вам. У меня провалы в памяти, все забыл — и потрясение, и войну, и свой плен, и ногу, что вы отрезали...

— Ногу! — оборвал он меня сердито. — Да мы тебя от смерти спасли!

— В госпитале при нормальном уходе ногу наверняка сохранили бы. Впрочем, вам до этого нет дела!

— Ошибаешься, к чему нам твои страдания? Это руководителям вашим выгодно, чтоб тебе было плохо...

— Вот как! Интересно...

— Разве не они послали тебя на войну?

— Мы защищаем свою землю от вас, агрессоров.

— Агрессоры не мы, а вы. Руководители ваши все врут, не верь им.

— А разве не вы топчете нашу землю? Я видел тысячи беженцев, они ютятся в палатках.

— Это террористы, преступники!

— И малые дети тоже?

— Ты весь напичкан ложью. Подумал бы лучше о себе...

— Нет, я уже все сказал.

— Советую: не упускай этот случай. Другой возможности, глядишь, и не представится. Я верю тебе и предлагаю свою дружбу. Чего тут долго раздумывать. Это в твоих интересах.

— Не вижу здесь особого смысла, — сказал я.

С трудом сохраняя спокойствие, он встал. По лицу его блуждала фальшивая улыбка. Он приблизился и, оглядев меня с головы до пят, произнес, отчеканивая каждое слово:

— Хорошо, я ухажу. Оставлю тебя с теми, кто положил на тебя глаз. Если понадобится, сможешь меня найти. Так не раз уже было с твоими товарищами. Тоже колебались поначалу, а потом все выложили. Конечно, им «помогли».

Они сами мне потом говорили: «Да, жаль, не послушались мы тебя сразу». Только было уже поздно. Я не требую от тебя ничего сверхъестественного. Стоит мне выйти отсюда, и твой единственный шанс уйдет со мной навсегда.

Подойдя к письменному столу, он спокойно взял пачку сигарет, зажигалку. Лицо его с застывшей улыбкой похоже было на маску. Затем он направился к двери — медленно, ожидая, что я закричу, взмолюсь: не уходи, мол. Сделав шагов пять, он остановился и повернулся ко мне. Открыв дверь, снова помедлил. Я чувствовал его нерешительность. Он хотел было обернуться и заговорить, но сдержался и вышел, захлопнув за собой дверь. Я остался в кабинете. Вскоре я услышал голоса, звучавшие в брошенной на стол телефонной трубке. Мой следователь спорил с кем-то. Вероятно, они забыли отключить аппарат. Человек, с которым он препирался, спрашивал с насмешкой:

— Ну, чего ты добился своими психологическими методами и мягким подходом? Высоко ли оценил возлюбленный твой араб такую гуманность?

— Что ты хочешь, бедняга остался без ноги... А тут еще такое обращение. Вы не очень-то, вижу, с ним церемонитесь...

В ответ раздался хохот:

— Ты находишь мои методы отвратительными, о добрый ангел? Да будет тебе известно, только так и можно чего-то добиться от арабов. Посмотрю-ка я на тебя, когда он выложит все как на духу после двух-трех собеседований со мной. Я эту публику знаю.

— Да, я не одобряю твой метод. Ты действуешь как преступник.

— А ты? Ты ведешь себя как женщина или как изменник. Ты и есть изменник! Думаешь, мы не знаем о твоей любви к арабам и ваших с ними шашнях? Странно, что ты до сих пор еще у нас работаешь.

Затем раздалась другие голоса. Я узнал тех двоих, что тащили меня из камеры в кабинет. Потом раздался еще чей-то голос:

— Приготовьте электрические инструменты и следуйте за мной.

Воцарилась тишина, наполненная страхом. Меня забила дрожь. Я уставился на дверь: сейчас она откроется, и мне конец. В душе шевельнулось даже теплое чувство к «моему» следователю. А если его сочувствие искреннее? Да, наверно, он был прав. И все же я не раскаивался ни в чем. Нет, не буду больше отвечать ни на один вопрос. Все, что можно было сказать, я сказал. Нужно взять себя в руки и подготовиться к решающей встрече. В памяти всплыли слова, с которыми обратился к нам командир перед боем на Голанских высотах: «Помните, мы защищаем себя, защищаем свою землю, свою культуру, защищаем наших детей, нашу честь и убеждения от врагов — злобных захватчиков, навязавших нам эту войну. И мы должны стоять насмерть за право на жизнь, за само существование нашего отечества. Либо достойная жизнь, либо смерть в бою! Так будьте же мужественны и стойки. Служите родине до конца. Свято храните тайны, которые враг может использовать против нас...»

Я явственно слышал мужественный голос командира и чувствовал, как ко мне возвращаются силы. Даже топот подкованных гвоздями ботинок в коридоре не мог заглушить его голос. Дверь распахнулась, появился высокий дородный человек с угловатым жестоким лицом, рукава на мускулистых руках засучены, как у мясника на бойне. Следом за ним вошли те двое, что привезли меня из камеры в кабинет. Голос командира зазвучал еще громче: «Мы сильны верой в победу, и мы победим!..»

VIII

Ахмед аль-Хасан впился глазами в шею Зейнаб, черное атласное покрывало соблазнительно подчеркивало ее нежную белизну. Кончики его усов заплясали — быстрее, еще быстрее. Ахмед аль-Хасан был не в силах сдержать дрожь. Зейнаб хотела взять Зейда, которого тот держал на руках. Купец не упустил случая и коснулся ее руки, надеясь ощутить волнующую нежность, но руки женщины были в ссадинах, кожа огрубела от работы. Он вздохнул в притворной тоске, страсти в этом вздохе было больше, чем напускной скорби. Попытался что-то сказать, но волнение перехватило горло. Тогда он протянул матери прижавшегося к нему мальчика, на губах у Зейда застыла кровь: десна продолжала кровоточить.

— Хвала Аллаху, он невредим. Я умыл его, смазал губу йодом. Вот кусочек стерилизованной ваты, вытри кровь. Поверь, я очень огорчен, но, слава богу, мальчик скоро поправится.

Ахмед аль-Хасан ожидал, что Зейнаб возьмет вату, но она медлила.

— Да бери же, бери!

Видя ее растерянность, Умм Сулейман взяла у него тампон, сказав коротко:

— Спасибо.

Смущенный Ахмед аль-Хасан, уходя, обронил:

— Я всегда к твоим услугам, о мать Зейда. И не стесняйся. Проси все что нужно.

В глазах Зейнаб блеснули слезы.

— Спасибо, сосед,— торопливо сказала она.— Мы жела-

ем тебе полного благополучия, пусть Аллах избавит тебя от нужды.

При этих словах она зарыдала. Умм Сулейман подошла, взяла ее под руку. Ахмед аль-Хасан постоял, озираясь, горестно развел руками и вышел. Продолговатое лицо его внезапно помрачнело, выражая явное недовольство.

Зейнаб вернулась в комнату, неся сына. Умм Сулейман позвала Ахмеда и Фатиму и вошла вместе с ними следом за Зейнаб.

— Прости меня, о мать Зейда, я не уследила за детьми, не уберегла твоего сыночка. Он играл с братцем. Ахмед просил у него хлеба, Зейд не дал, бросился бежать. Малыш — за ним. Они носились по всему дому. Вдруг слышу плач. Вижу: беда приключилась, схватила мальчика и — в лавку Ахмеда аль-Хасана. Клянусь Аллахом, совсем растерялась, не знала, что и делать. Чему быть, того не миновать, о дочь моя, ты уж прости меня, старую.

— Прости и ты меня, Умм Сулейман. Из-за нас у тебя столько хлопот. Маешься вместе с нами.

— Не говори так, Зейнаб, ты мне сына моего дороже. У меня ведь нет давно ни друзей, ни близких — никого, кроме тебя, о мать Зейда. Но я твердо знаю: люди живут для людей. Мы должны помогать друг другу.

Зейнаб, утешая все еще плакавшего сына, уложила его в постель, вытерла кровь, сочившуюся изо рта. Умм Сулейман поднялась — поставить керосиновую лампу на старенький деревянный столик, спрятавшийся в темном углу. Выдвинула столик на середину комнаты, аккуратно подрезала фитиль и зажгла его. Мягкий свет лампы осветил печальные лица. Свет становился ярче по мере того, как сгущался мрак, окутывая все плотнее несчастную семью.

Снова и снова воскрешал в памяти Ахмед аль-Хасан незабываемый блаженный миг, когда он коснулся руки Зейнаб, увидел ее мраморную шею, ощупал жадным взглядом стройный ее стан. Ночь кончалась, а он все не мог уснуть и ворочался в постели, сжигаемый страстью. Зейнаб должна

стать его женой, любовницей, служанкой — все равно кем. Он жаждет обладать ею, овладеть этой женщиной, утолить неукротимую страсть. Огонь, тлевший в тайниках его сердца со времен юности, вспыхнул ярким пламенем и разгорался, как костер, раздуваемый ветром. Зейнаб отказалась выйти за него, когда он был еще молод; с тех пор он постарел, но богатство покроет разницу в возрасте. Тогда она отвергла его просьбу, отказалась наотрез, выпроводила его посланца. Слава богу, об этом никто не узнал, но тайна стоила денег...

Позор Ахмеда аль-Хасана не стал достоянием досужих деревенских сплетников. И вот сегодня настал удобный случай, теперь положение Зейнаб не из лучших, и она не станет упрямиться. Вдове, оставшейся с маленькими детьми, нужно, чтобы кто-нибудь разделил с нею ее бремя. А ему эта ноша по силам, он готов принять ее на свои плечи. Свои домашние дела он уладит без малейших осложнений. Правда, его удивляет и тревожит непонятная пассивность Зейнаб, ведь ей сейчас плохо, ох как плохо. В чем же дело? Конечно, прошли считанные недели, как она получила известие о муже, — слишком малый срок, чтобы забыть его и потянуться к другим мужчинам. Тут все непросто, время — вот что решит дело. Ей не видать больше спокойной жизни. Она явно нуждается, но какой изберет выход? Обратится ли к нему? А ну как ее подхватит кто-то другой? Да, теперь принимать решения посложнее, чем раньше. Что ж, он наберется терпения, дождется, пока плод созреет. Только кто поручится, что плод достанется именно ему?

На сей раз надо приложить все усилия, чтобы не упустить своего счастья. Может, стоит заглянуть к Умм Сулейман, дать ей немного продуктов, денег? Она больна, вчера так кашляла. Это прекрасный повод! Он им непременно воспользуется, выразит сочувствие старушке, а уж она, без сомнения, сумеет повлиять на Зейнаб. В конце концов Зейнаб сдастся, уступит его желанию, его воле. Мысль эта пришлась ему по душе. Он вдруг провел ладонью по лицу, словно стряхивая неотвязную головную боль, и подкрутил усы.

Самодовольная улыбка растянула его толстые губы. Поскорей бы взошло солнце...

Утром он первым делом направился к Умм Сулейман и, лучезарно улыбаясь, протянул ей кульки с чаем и кофейными зернами:

— Я был невнимателен к тебе, о Умм Сулейман. Не сердись же. Вчера ты так кашляла. Твоя боль отдавалась в моем сердце. Мы ведь соседи — одна семья, а жизнь тяжела. Деньги развратили людей, осквернили этот мир. Люди тянутся к богатству, им все нипочем, деньги заставляют их позабыть о своем долге, о боге. Будь они прокляты, эти деньги! Как ты себя чувствуешь сегодня? Надеюсь, получше?

Умм Сулейман удивилась, конечно, но виду не показала. Вчерашняя встреча с Ахмедом аль-Хасаном не прошла для нее даром. Ему явно понадобилось что-то; за здорово живешь подобные люди не явятся в такую рань, да еще с подарками. Ну, так или иначе, а с ним надо вести себя достойно. Она улыбнулась лавочнику, пригласила сесть на постель — другого места у нее в комнате не было. И смутилась: в доме такой беспорядок. Примус давно не чищен, грязные тарелки и ложки валяются в углу вместе с зеленым пластмассовым кувшином и жалкой облезшей щеткой. Рядом чайник и три сложенные стопкой пиалы. Чуть подальше, на перевернутой жестянке, торчит керосиновая лампа. Тут же деревянный сундук с облупившейся краской и темным пятном на месте давно разбитого зеркала. На сундуке — грубо сработанная шкатулка с восьмиугольной звездой, на шкатулке — большая, с ладонь, гребенка и рваный носовой платок. У порога посреди дырявой циновки чернеют старые туфли...

Произнеся положенные приветствия, Умм Сулейман прислонилась к деревянному сундуку и начала благодарить гостя. Потом умолкла, приглядываясь к нему и пытаясь дознаться о цели его прихода. Ахмед аль-Хасан зря и пальцем не шевельнет. Что же привело его сюда? Исподволь завязала она беседу:

— Прости, отец Хасана, что принимаю тебя в столь недостойном месте. Да еще не успела ни подмести, ни прибраться в доме. Всю ночь не спала, кашель замучил, господь тебя упаси от такой беды. А после утренней молитвы прилегла немного...

Ахмед аль-Хасан — он явно не собирался засиживаться в этой конуре — только и ждал момента, чтоб завести нужный ему разговор. Он откашлялся, подкрутил усы и сказал:

— Извини уж меня, Умм Сулейман, что явился ни свет ни заря. Я и сам всю ночь не спал.

— Пусть Аллах отведет от нас зло. Пусть будет у тебя все хорошо.

— Вот размышляю я, Умм Сулейман, о деяниях Аллаха и людских бедах. Очень меня огорчает судьба Зейнаб и ее детей. Вчера, когда Зейд поранился, увидел я, как переживает бедняжка Зейнаб, — прямо сердце защемило. За что же, думаю, обрушились на нее чуть не все муки на свете? До утра глаз не сомкнул, удручался. Надо же, вдова, трое деток-сирот, а сама не узнала даже радостей да утех молодой поры! Как ей, бедной, прокормить сирот, оберечь их? Как жизнь свою устроить? Пусть вразумит нас Аллах. Плач детей Зейнаб разрывает мне сердце, о Умм Сулейман. Я молился за них...

— Аллах не лишал их своей помощи, подаст им ее и впредь. Да ниспошлет он им радость и утешит их, возвратив дорогого им Мухаммеда.

— Аминь.

Ахмед аль-Хасан помолчал, поскреб голый шишковатый череп.

— Пропавший без вести уже не вернется, Зейнаб понимает это?

— Да, пропавший на войне — все равно что мертвый. О горе!

— Он и вправду мертв. Просто командование не спешит с извещением: труп-то пока не найден. Возможно, одному Аллаху ведомо, что с ним. Бомба или танк, наверно, стерли

его в прах, и следа не осталось. Штабным офицерам неловко, вот и пишут, пропал, мол, без вести. Да только пропавший без вести — это, считай, покойник. Дело ясное. Вспомни-ка сына Мухаммеда ас-Саламы! В шестьдесят седьмом что с ним случилось? Вот-вот, пропал без вести. Семья все ждала его, надеялась, а он и по сей день не вернулся. Разве Зейнаб не знает об этом?

Ахмед аль-Хасан говорил так уверенно, и Умм Сулейман сдалась, последняя надежда на возвращение Мухаммеда аль-Масуда, теплившаяся в ее душе, растаяла.

— Бедная Зейнаб! — Голос ее звучал глухо. — Все плачет, живет надеждой. Утопающий, он и за соломинку хватается. Только сказать правду — все равно что вторично мужа ее убить.

— А может, стоило бы тебе, Умм Сулейман, как-то намекнуть ей об этом? Должна же она знать правду. Думаю, она и сама убеждена в гибели мужа.

— Один Аллах знает...

— Ты, — перебил он нетерпеливо, — исподволь втолковала бы ей что к чему... Чем скорее, тем лучше. В таких случаях нужна полная ясность. Зейнаб молода, хорошо бы ей подумать и о себе. Как-никак и ей и детям нужна опора.

Умм Сулейман открыла было рот — возразить жестоким его речам. Но Ахмед аль-Хасан притворился, будто ничего не заметил.

— Пожалуй, сейчас и впрямь не время сразу открыть ей на все глаза. Лучше бы загодя подготовить ее, не мне тебя учить, Умм Сулейман, сама знаешь.

— Но, о отец Мухаммеда, тут главное не она — ее дети. Я знаю Зейнаб, муж дорог ей, но дети дороже всего. Ради них она пойдет на все, жизни не пожалеет.

— К чему такие крайности, когда можно найти себе другого мужа? Мало ли на свете мужчин! Наверняка отыщется и такой, который ради нее согласится пестовать хоть двадцать ее детей. Вот так-то, Умм Сулейман.

Ахмед аль-Хасан закрутил сперва правый ус, потом левый

и вопрошающе глянул на старушку ястребиными своими глазами. Самодовольная улыбка засияла на его лице. Тут только Умм Сулейман поняла, о чем речь. Ей не хотелось, чтоб собеседник высказался более откровенно. И так все ясно. Она встала, подошла к своему примусу и принялась протирать его тряпкой. Не успела она взяться за насос и подкачать примус, как Ахмед аль-Хасан вдруг поднялся.

— Будь здорова, о Умм Сулейман, я ухожу.

— Может, чаю попьешь?

— Благодарю, уже пил. Прощай.

Он направился к двери, предусмотрительно наклонив голову, чтоб не удариться о низкую притолоку. Умм Сулейман последовала за ним. Выйдя за дверь, он повернулся и, нагнувшись к старушке, сказал:

— Ради бога, Умм Сулейман, передай Зейнаб, пусть не стесняется, берет у меня все, что ей нужно. Жизнь так жестока к нам, мы должны помогать друг другу. Стыдно будет Зейнаб, если в нужде не прибежит она ко мне. Можешь ей так и передать. Я сам хотел сказать ей об этом, но момент вчера был неподходящий.

Отойдя шага на два, Ахмед аль-Хасан обернулся и, обнажив в улыбке зубы, мягко произнес:

— Да и твою любую просьбу, Умм Сулейман, всегда встречу как должное. Об одном прошу: помоги несчастным сироткам и их матери.

Он давно ушел, а перед глазами Умм Сулейман все маячила долговязая фигура лавочника, покручивавшего усы. Долго еще, как говорится, просидела она на ковре видений. Потом, придя в себя, решила немного прибрать в доме и провести Зейнаб с детьми. С усердием взявшись за работу, она вдруг увидела мешочек с сахаром — его принес Ахмед аль-Хасан. Она схватила мешочек и шагнула к двери, чтоб выбросить его из дома. Но остановилась, подумав: «Как давно не ела я сахара, даже вкус его позабыла». И положила мешочек рядом с сундуком. Сердце тотчас кольнула тревожная мысль: «Вот он, твой первый шаг на грязном пути, корыстная Умм Сулейман!»

С тех пор все в доме Зейнаб предстало Умм Сулейман в ином свете: она замечала не только несчастья Зейнаб, ее траур, горе и страдания, но и стройную ее фигуру, ее молодое, сильное тело, добрые, мягкие глаза, в которых так часто вспыхивала грусть. Ну а дети — они ведь извечная добыча несчастий и бед. Горе, постигшее их ныне, — ничто по сравнению с тем, что ожидает их в будущем. Им суждено стать постылыми нахлебниками у нового мужа их матери. Они окажутся в полной его власти, а он решит вскоре: дети мешают ему, отравляют жизнь. Он начнет бранить их днем и ночью, попрекать куском хлеба. Выплакав все глаза, они уйдут из дому и побредут по улочкам, как бездомные псы. А мать их, оказавшись меж двух огней, не сможет заступиться за малышей. Ей придется лишь молча лить слезы, проклиная тот день и час, когда она уступила...

Сладкие слова, что так щедро рассыпает Ахмед аль-Хасан — он, мол, позаботится о детях, они будут ему дороже всего на свете, — слова эти обернутся вечными жалобами и упреками, жестокостями и мукой прежде всего для детей.

Так думала Умм Сулейман, вспоминая собственное детство. Она росла такой же обездоленной, как дети Мухаммеда аль-Масуда. Бедность всегда похищает у детства его мечты, мало кто избавлен от этого. Семилетняя Умм Сулейман от зари до зари гнула спину в поле, ей не давали даже выспаться. Отдых для бедняка — излишняя роскошь; разве что в праздники дети могли поиграть, им разрешалось спать до восхода солнца.

Зейнаб, проницательной и чуткой от природы, нетрудно было заметить, что Умм Сулейман чем-то озабочена.

— Что нового, Умм Сулейман? — сочувственно спросила она. — Нет ли каких новостей?

— Да нет... Я ничего не слыхала, — в замешательстве пролепетала старушка. — Сегодня я никуда не заходила, сразу — к тебе.

Зейнаб поглядела внимательно на Умм Сулейман, видно,

хотела что-то еще сказать. Только едва заметная тень скользнула по ее лицу.

Умм Сулейман совсем удручилась: каких еще вестей ждет бедняжка? Неужто надеется, что Мухаммед аль-Масуд вернется? Мертвые, увы, не возвращаются. У бедной Зейнаб нет ничего, кроме надежды, которой она живет, впрочем, ей ничего другого не остается. Старушка чуть нахмурилась и покосилась на Зейнаб. Любая женщина, окажись она в таком положении, надеялась бы и ждала.

Ахмед аль-Хасан хочет достичь цели одним ударом, лишив Зейнаб прежде всего этой надежды. Если она передаст Зейнаб слова Ахмеда аль-Хасана, смысл сказанного убьет ее. Что же делать? Как открыть Зейнаб чувства и намерения Ахмеда аль-Хасана? Может быть, заронить смятение и тревогу в ее сердце, а там уж она сама все поймет? Да, пожалуй, это самое верное.

— Я все утро думала о бедняжке Шамхе, — начала Умм Сулейман. — Она больна, а я давно не навещала ее. Горе-то у нее какое! И кто б мог подумать! Все у нее было — и здоровье, и красота. А потом случилось это несчастье с ее сыном. Да поможет ей Аллах. О господь, отвращающий беды, отведи их от нас.

— Чем же она больна? — спросила Зейнаб, внимательно слушавшая Умм Сулейман.

— Одному Аллаху ведомо. Думаю, причина болезни матери — утрата сына. И никто не знает, как лечить эту хворь.

— Господи помилуй! О Аллах, отгони зло от нас. Разве у Шамхи есть дети, Умм Сулейман?

— Конечно, есть... Только взрослые...

— Передай ей привет от меня. Извинись, ради бога, сама видишь, я не могу ее проведать...

— Вижу, о мать Зейда. Все знают о твоём положении и прощают тебя. Аллах свидетель, я передам твой привет. Чувствую, она будет сердиться на меня. Давно я ее не навещала. А раньше то и дело заглядывала — утешить ее,

успокоить. Не дай ей бог еще одного такого же дня. Всю ночь, как пришло известие, она мучилась, рыдала. Ожидание и бессонница сразили ее. Ей сказали, сын, мол, скоро придет: живой всегда возвращается. Вот она и поверила, ночами не спала, все ждала... Тоска медленно убивает ее. Она угадает. Сын ее — да ты знаешь его — Шахир, двадцатилетний парень, даже первым поцелуем насладиться не успел. После помолвки с дочерью аш-Шукрана он и виделся-то с нею лишь дважды. Последний раз — за месяц до войны. А там ушел на фронт, и вскоре мать получила извещение: сын ваш Шахир пропал без вести. Шесть лет с тех пор прошло. И все эти годы она ждет и плачет, до сих пор не потеряла надежды. День, когда пришло извещение, и для нее и для всего их квартала стал черным днем... Соседи, все до единого, разделили ее горе, сокрушались и плакали с нею, словно несчастный Шахир был их собственным сыном.

— О горе, а невеста-то как же?

— Что ей оставалось делать, о мать Зейда? Она прождала его целых три года, куда больше! Сама знаешь, какова участь наших девушек. Мать ее пыталась устроить судьбу дочери, да и люди злословили: сколько, мол, можно оставаться нареченной покойника? Всю жизнь?! Три года ведь срок немалый...

— А вдруг он вернется?— спросила Зейнаб, бросив на Умм Сулейман быстрый взгляд.

— Надо и о девушке подумать. Она свой долг исполнила. А вернется он — мало ли невест. Лишь бы вернулся...

— Дай бог!— сказала Зейнаб задумчиво. Ей трудно было понять, испытывает ли ее Умм Сулейман, или затеяла с ней какую-то недобрую игру. А может, и впрямь пора ей подумать о себе? Она пристально посмотрела на Умм Сулейман. Старуха не спеша достала из пачки сигарету, чиркнула спичкой, затянулась горьковатым дымком. Подавив обуревавшие ее чувства, Зейнаб спросила, надеясь втайне, что ответ многое для нее прояснит:

— А это правда, Умм Сулейман, что Шахир погиб?

— Правду ведает один лишь господь. Я слышала только, что люди говорят, а толкуют они разное. Многие уверяют, будто он, о горе, остался лежать раненый в каком-то овраге и его сожрали дикие звери. Кто знает, возможно, это и правда... Будь он жив, непременно б вернулся домой или хоть дал знать о себе. Человек вот так запросто не исчезнет. Нашлась бы хоть одна живая душа, что видела его или слыхала о нем. Шесть лет — срок немалый. Уж седьмой год, как кончилась война, а о нем ни слуху ни духу. Какое тут может быть объяснение?

Умм Сулейман давно умолкла, но Зейнаб и не заметила этого. Ей представился заблудившийся среди оврагов раненый. Не в силах идти дальше, он прячется в пещере, забивается в узкую расселину меж скал, его осаждают дикие звери, а он не в состоянии защищаться... Хищники терзают его, живого или мертвого, пожирают его плоть! В ужасе схватилась она за сердце, из глаз брызнули слезы. В мозгу неотвязно билась мысль: что, если это случилось и с ее Мухаммедом? Его сожрали дикие звери?! Гиены, волки, стая одичавших собак разодрали клыками его тело на части. Растерзали грудь, выгрызли сердце, обглодали лицо. Она вскочила и в ужасе метнулась к двери, не добежав, кинулась назад, к лежавшим на деревянных старых досках свернутым тюфякам, просунула между ними руку и вытащила кинжал Мухаммеда. Умм Сулейман, вскочив, закричала:

— Что ты делаешь?

Опомнившись, она увидела, что старуха крепко ухватила ее за кисть, а пальцы ее вцепились в рукоять кинжала, наполовину вытщенного из ножен. Руки Зейнаб повисли как плети, кинжал упал на пол. Умм Сулейман чуть не силой усадила ее на тюфяк. Она сидела, глядя перед собой неподвижным взглядом, словно в полусне. Привалившись к стене, она пыталась собраться с мыслями, но долго еще не могла понять, что же произошло. Старушка занялась ею, принесла воды, брызнула ей в лицо, причитая:

— Во имя Аллаха милостивого, милосердного. Нет силы и мощи, кроме как у Аллаха.

Зейд, пользуясь случаем, бросился к упавшему на пол кинжалу, подобрал его и стал с ним играть, пытаясь вытащить из ножен. Растерянная, хлопочущая возле Зейнаб старушка не видела ничего вокруг.

— Что с тобой, Зейнаб?— то и дело повторяла она.

Заметив Зейда с отцовским кинжалом, Зейнаб вскрикнула:

— Осторожно! Полегче, сынок. Отдай его лучше мне.

Взяв кинжал, Зейнаб повертела его в руках и начала пристально разглядывать, потом сказала дрожащим, сдавленным от волнения голосом:

— Я должна была защитить Мухаммеда, помочь ему... Но где он? Почему я, его подруга, спутница жизни... не могу разделить с ним его судьбу и боль?

Слезы душили ее. Зейнаб разрыдалась, и вместе с ней заплакали дети. Глядя на несчастную женщину, не совладала с собой и Умм Сулейман...

В тот непомерно долгий безветренный день солнце потонуло в море слез и на горизонте, словно черные вестники беды, вздыбились тучи. Вселенная облачилась в траурную абун*, накрывшую полую домá, где ютились семьи пропавших без вести и погибших на войне,— самые бедные лачуги, зияющие раны деревни.

* Аба — шерстяная одежда, род плаща.

IX

Вокруг меня плотной толпой сбились заключенные. Длинный, душный, смердящий барак набит до отказа. Я, единственный из всех, был без ноги; из сострадания мне отвели целый угол, где я мог сидеть, вытянув ногу в гипсе. Я ухитрился даже спать, прислонясь к стене. По общему мнению, это была чуть ли не роскошь; никто из моих товарищей по несчастью не мог сесть, вытянув ноги.

В первые дни меня забрасывали вопросами: «Кто ты?.. Откуда родом?.. Как ты попал сюда?.. Скажи, как с тобой обращались?..» Отвечать не было сил. Вокруг колыхались, причудливо расплываясь и суживаясь, сонмы лиц. Они то и дело сливались воедино, обретая странный, нечеловеческий облик. Иногда я пытался отвечать, но слова застревали в горле, точно в бездонной пещере. Второй следовательно, допрашивавший меня, и его люди превратили мое тело в обезображенный кусок мяса, густо сдобренный болью. Наконец я попросил у палачей передышки. Они почему-то вняли моей просьбе, повернулись ко мне спиной и вроде оставили в покое. Я немного расслабился, закрыл глаза и медленно начал терять сознание. Мне казалось, будто я погружаюсь в землю и растворяюсь в ней. Мы с землей стали единым существом.

Как долго продолжалось это безмолвное слияние — не ведаю. Вскрикнув, я открыл глаза и увидел вокруг множество заключенных, сидевших без движения на полу, словно вязкая серая груда. Обхватив колени руками и наклонив головы, они, казалось, спали. Возле двери перед железной решеткой, точно акулы клыки, торчали трос

солдат во главе с сержантом. Сержант грубо и зло орал на заключенных. Окончательно придя в себя, я стал разбирать слова.

— Молчать!— кричал он.— Ни звука! Если хоть одна сволочь откроет рот, измордую всех до единого!

Потом он встал, сверля глазами безмолвное людское месиво. Ему, видно, не терпелось услышать хоть отзвук протеста. Лицо исказила злоба, в уголке рта пузырилась слюна. Обведя всех презрительным, тяжким взглядом, он наконец куда-то исчез. Солдаты остались у двери.

Тишина и удушливый запах пота окутали барак. Вдруг несколько заключенных повернулись ко мне. Я разглядел человека, с сочувствием смотревшего на меня. Усы его, похожие на велосипедный руль, дрогнули в улыбке:

— Ну, как ты?

— Получше.

— Куришь?

Я кивнул утвердительно. Он повернулся к товарищу:

— Ряд, добудь-ка сигарету.

Заключенные зашевелились, зашептались, передавая друг другу половинку сигареты. Наконец она дошла до заключенного, сидевшего поблизости. Усач шепотом окликнул его:

— Саид, дай-ка ее сюда!

Рука, державшая окурок, дрожала. Саид жадно втягивал ноздрями запах табака. Видит Аллах, ему не хотелось расставаться с таким сокровищем. Но он повернулся ко мне, протянул окурок и чиркнул спичкой. Товарищи, сдвинувшись поплотнее, образовали барьер между мной и дверью, в глазки которой все время заглядывали надзиратели. Проникшись благодарностью к безвестным моим друзьям, я улыбнулся им. И, схватив окурок, глубоко затянулся. Сидевшие рядом вдыхали дрожащими ноздрями горьковатый дымок и глядели на меня.

— Теперь как себя чувствуешь?— спросил Саид.

— Хорошо.

— Они пытали тебя?

Я едва заметно кивнул. О жестоких пытках говорили без слов мои потускневшие, страдальческие глаза. Соседи все поняли, пытками здесь, в бараке, никого не удивишь. Они переглянулись и опустили головы. Каждый, наверно, испытал какую-то часть того, что выпало на мою долю. Они многое повидали, намучились. И понимают все без слов. Страдая от унижения, немощный, израненный, я пытался хоть как-то поведать им о себе. Тела их и лица были неподвижны. К бессвязным словам моим прислушивались не только их уши, но и склоненные плечи, торчавшие колени и обнимавшие колени руки. Все их существо было пронизано нетерпением поскорее узнать, что же случилось со мной. Саид утешал меня как мог.

— Будь доволен тем, что ты выстоял, — сказал он мне. — Главное — они ничего от тебя не добились.

Я снова улыбнулся. Здесь я среди своих. Хотелось расспросить товарищей о здешних порядках, но я сдержался: нужно быть осмотрительными, мы в плену. Однако долго кривить душой невозможно, и, помолчав, я сказал:

— Пусть я теперь лишь жалкий обрубок, но свой солдатский долг не забыл. Враги хотят сломить меня, подчинить своей воле, они ошиблись. И изувеченный я буду держаться. Если ж меня ждет смерть, умру не зря.

И вдруг что-то изменилось в атмосфере барака: глаза людей вспыхнули огнем, от каждого веяло одобрением, душевною силой. Я почувствовал уверенность, гордость. И сказал себе: «Передо мной один-единственный путь, мы к изменам не приучены. Детям моим не придется краснеть за отца. Видно, пришел мой последний час. Что ж, я останусь честным до конца, predetermined Аллахом...» Очень хотелось, конечно, чтобы мой первенец узнал эти мои мысли и никогда не забывал их... Чтоб вспоминал обо мне. Я попытался представить личики детей, но тщетно. И понял, что вот-вот расплачусь. В голове неожиданно промелькнул упрек: каково оно будет, если я, произнесший перед соседями столько слов о стойкости духа, вдруг заплачу? Как они истолкуют это? Подумают, я лгал, а сам на

допросах струсил и выложил все... О, если бы можно было огородиться железной стеной в минуту позорной слабости, я дал бы волю слезам! Но здесь, в тесном бараке, когда вокруг такие же заключенные... Никто не поймет истинной причины — моей любви к детям, к Зейнаб... Нет, надо взять себя в руки во что бы то ни стало. Мысли о семье разбивают броню моей стойкости. Надо отвлечься, отвлечься... Я оглядел барак — грязный потолок навис над множеством голов. Вдруг откуда-то со стороны двери послышался тихий шепот. Затем повисла гнетущая тишина. На губах Рияда застыл вопрос, который, показалось мне, он собирался задать: в чем дело? Гулко прозвучали чьи-то шаги, им вторил мучительный стон. Голос несчастного оборвался на самой высокой ноте. Зашелестела вторая волна шепота, снова докатившаяся до меня.

— Бедняга,— негромко сказал Саид,— не успеет очнуться от пыток, его опять забирают палачи и мучают... Четвертый раз за два дня! Разве это люди? Злобные выродки. Невозможно вынести все это, нет сил...

Я понял, Саид говорит о ком-то из заключенных, и спросил:

— А кто он?

Сосед беспомощно развел руками — если б мы только знали... Воцарилось молчание, затем я почувствовал: многие снова смотрят на меня. Рияд подошел ко мне и тихо спросил:

— Ты так и не сказал нам, чего они хотят от тебя.

— Да ведь я пленный, неужели не ясно, что им надо?

— Ты откуда?

Я не ответил — какое это имеет значение! Я очень устал. Глаза закрывались сами собой, ныли все кости, особенно нога в гипсе. Боль и усталость разлились по всему телу. Мне почудилось вдруг, будто Рияд отодвинулся от меня и замолк.

— Сержант Мухаммед Аль-Масуд... из Хаурана*...— медленно произнес я.

* Хауран — область в Сирии.

— Люди из Хаурана,— вздохнул с облегчением снова возникший рядом Рияд,— не томятся в плену, их убивают или они убегают.

Я понял: здесь не пустого любопытства ради спрашивают, откуда ты родом, и, улыбнувшись, добавил:

— Есть еще третий выход — они борются.

Рияд засмеялся и ласково похлопал меня по плечу:

— Шучу, шучу, дружище.

— Знаю.

Раздался стук в дверь с железной решеткой, все обернулись.

— Приготовиться к десятиминутной прогулке!— крикнул охранник.— Выходить по двое, без шума.

Солдат отодвинул засов, лязгнула железная решетка.

— Сейчас,— сказал вдруг Саид Рияду,— не время для прогулки. Здесь что-то не так.

Рияд пожал плечами. Заключенные начали медленно выползать из барака.

— Мы не загуляем, — подмигнул мне Саид. Он не хотел подчеркивать мою беспомощность, ведь последовать за товарищами я не мог...

Я вздрогнул, стараясь скрыть волнение. Казалось, Саид хотел еще что-то добавить, но передумал и направился к двери. Они вышли, и я остался один. Взгляд мой уперся в железную решетку двери, за нею исчез во мраке Саид. Вокруг ни души, я совершенно один здесь, в бараке, где ютятся множество людей. Я постучал по полу, устланному пепельно-серыми одеялами. Вблизи от противоположной стены, там, где кончались одеяла, виднелась вырытая в полу неглубокая канава, куда стекали нечистоты. Теперь я понял, отчего в камере так скверно пахнет. Быть может, у этого длинного, проложенного вдоль стены рва есть и другое назначение? Внезапно у двери барака раздался грохот. Что происходит? Я снова окинул взглядом барак и вдруг увидел, как в дверь, поблескивая металлом, вкатывается инвалидная коляска, и ее подталкивают в мою сторону двое мужчин. Да-да, те самые!.. Проехав с десятков

шагов, коляска остановилась. Вдруг в душе у меня взорвалось что-то горячее и острое, я почувствовал, что задыхаюсь, и едва не закричал от ужаса. Кресло подкатило ко мне вплотную, казалось, оно взгромоздилось на меня, втиснулось в мое нутро, раздирая плоть. Я глядел на прикативших кресло мужчин: что, если попросить их не вывозить меня на прогулку? Я боялся, как бы они попросту не швырнули меня в кресло. Взгляд мой скользнул по их безжизненным глазам. Эти роботы не дали мне произнести ни слова, схватили, словно пустой бурдюк, и бросили в кресло. Я потерял сознание.

Очнулся я уже за стенами барака, в каком-то длинном темном коридоре, мрак по мере моего продвижения сгущался. Казалось, мы вползаем в ночь. Я не знал места прогулки, никогда там не был, и поэтому не сомневался, везут меня именно туда. Волей-неволей пришлось смириться. Конечно, тяжело сидеть в этом проклятом кресле, глядя, как другие прогуливаются по двору. Но ведь вся прогулка эта длится каких-нибудь десять минут... Зато я увижу солнце, побуду под открытым небом на свежем воздухе, избавлюсь хоть на время от царящего в бараке невыносимого зловония. Увы, надежды мои оказались напрасными! Мой оптимизм тотчас улетучился, едва коляска въехала в одиночную камеру и меня опять поместили под зловещие капли. Они с той же дьявольской размеренностью падали с потолка. Я ничего не успел сказать, да и кто бы стал меня слушать? Скорчившись от невыносимой боли после падения, я распластался на полу.

Когда дверь закрылась, я собрался с духом, вспомнил товарищей по бараку, их поспешный уход, вырытый под стеной сток для нечистот. Превозмогая мучительную боль, я спрашивал себя: что это за ров? Неужто он отрыт лишь для того, чтобы в него испражнялись? Значит, мне это не примерещилось, люди действительно мочатся там, где спят? Впрочем, что удивительного — разве в моей одиночке есть туалет? Неплохо бы закурить... Я все еще ощущал вкус крохотного окурка, который мне дали в бараке. На лицо

упала капля воды, на сей раз она была горячей. За ней — другая, тоже горячая. Что это? Может быть, изверги водворили меня в другую камеру? Нет, камера та же, и все-таки здесь что-то изменилось. Нет удушающей жары, вместо холодной воды льется горячая. Мое удивление возрастало. Воздух в камере становился все холоднее, вода — все горячее. Мало им, что ли, моих страданий? Начинается новая пытка, палачи изобретательны, если так пойдет дальше, я не выдержу этого кошмара, погибну... Подремлю, решил я, и проснусь, когда полегчает. Но ничего не вышло — упавшая капля ошпарила лоб, следующая угодила в глаз... Это был чуть ли не кипяток, а тело пронизывал космический холод.

Остановите пытку, ради бога, прекратите! Нет, никто меня не слышит. В камере тишина, снаружи ни звука. Я понимаю: кричать бесполезно — напрасная трата сил. Разве не кричал, не вопил я в прошлый раз? Никто не пришел ко мне. Но теперь положение мое еще ужасней. Так я долго не протяну. Воздух в камере стал совсем холодным, я попытался привстать с пола, леденившего тело, — тщетно. Терпеть эти муки и дальше было невозможно. Силы покидали меня. Неужели это конец? Я задвигался, пытаюсь согреться, — бесполезно. Слава богу, гипс хоть как-то предохранял от холода: левая нога теплая. Но надолго ли это? Что делать? Я снова начал кричать — беспрерывно, не умолкая:

— Заберите меня отсюда!.. Освободите меня, я умру!.. Выведите меня! Слышите!..

Вдруг я заметил, как дверь тихо открылась и в проеме появился «любезный» следователь. Он с торжествующей улыбкой смотрел на меня. Я испугался: что, если он сейчас повернется и уйдет? Как утопающий, хватающийся за соломинку, я взмолился:

— Остановите воду, прошу вас! Я не могу больше...

И с тревогой уставился на него. Он укоризненно покачал головой, медленно подошел и склонился надо мной, острым взглядом буравя мои глаза. Сквозь этот поток ненависти я

неотрывно следил за ним, видел, как подергивались его выбритые щеки, и, почудилось мне, холод вдруг начал отступать.

— Помнишь,— спросил он,— я предлагал тебе свою дружбу, доверие, доброе обращение? Почему ты не принял мое предложение? Ты отказался, не так ли? Теперь пеняй на себя, ты сам виновник своих мук. Вижу, тебя терзает страх, сердце твое на пределе, ноет рана, болят глаза, но виноват ты один. Что я могу сделать? Твое дело уплыло из моих рук, его передали другому. Чем я могу тебе помочь? Даже мой приход сюда — риск, да к тому же ничем не оправданный. Но, с другой стороны, разрешив свидание с тобой, мне сделали одолжение. И знаешь почему?

Я покачал головой и ощутил ее непомерную тяжесть. Мозг дробился внутри черепа, горло словно забито песком. Фигура склонившегося надо мной человека закачалась. Он понимает мое состояние, конечно же понимает. Зачем-то он, не умолкая, продолжал упрекать меня, говорить со мной, не обращая внимания на мою боль:

— Тебе тяжело, но и мне не легче. Меня наказали за слишком доброе отношение к тебе. Кое-кто даже обвинил меня в предательстве. Знаешь, что значит такое обвинение здесь? Нет, это не пустые слова, сказанные без особого умысла, как иногда бывает. Они не останутся без последствий, и мне не поздоровится... Уже есть приказ о моем переводе отсюда, меня ждет суровое взыскание, может быть — трибунал. И все из-за того, что я пытался проявить милосердие, хотел спасти тебя от пыток. Знаю, ты держишься достойно, я встречал таких людей, как ты. Их было здесь немало. Но ведь ты не дашь мне попасть в беду только за то, что я проявил к тебе снисхождение. Меня лишили жалованья, наказали, а тут еще это обвинение в измене.

Голос его задрожал. Я видел его глаза. Они тревожно блестели от слез. Казалось, он искренне просит моего сочувствия, хочет, чтоб я проникся к нему состраданием. Конечно, я понимал, мое состояние не очень-то его и

заботит. Я хотел сказать ему: «Сперва заведи меня отсюда, я весь околел». Но он все говорил, говорил и наверняка бы даже не услышал меня.

— Ну,— спрашивал он,— чего ты добился? Да ничего! Тебя унижали, пытали, теперь хотят убить. Холод делает свое дело, они будут охлаждать камеру до тех пор, пока ты не застывешь. Потом за ненужностью они выбросят тебя на свалку и тут же забудут обо всем.

Его лицо стало жестким, губы вытянулись, как клюв у совы, хищный нос еще больше загнулся. Он шепелявил, выплевывая слова, брызги слюны летели мне в лицо:

— Герой, да? Ему захотелось быть героем! Плевал я на таких героев. Фанатики вы, больше никто! Надо и о себе подумать, о своих сыновьях, о жене. Я спрашиваю тебя: за что ни в чем не повинный человек должен мучиться? Хочешь совершить подвиг, пожертвовать собой, а ради чего? Ради земли? Так она тебе не принадлежит. Ради руководителей ваших? Им нет до тебя никакого дела. Ради народа? Он о тебе никогда не узнает...

Видя, что я пытаюсь возразить ему, он умолк было. Потом заговорил с еще большим пылом, напирая на каждое слово:

— Запомни, никто не побеспокоится о тебе, никто о тебе не услышит. Ты исчезнешь, уйдешь в небытие, и никто о тебе не вспомнит. Никто не узнает ни о твоих страданиях, ни о твоей стойкости. Ни одна живая душа не услышит тех пустых слов, которые ты не устаешь повторять. Ты ослеплен иллюзиями и платишь за них дорогой ценой. Если даже твои друзья узнают о тебе и сочтут тебя героем, самое большее — твое имя упомянут по радио. На этом все кончится. Твои дети будут по-прежнему голодать. Потом тебя все забудут. Пойми же это наконец. Вникни в свое положение. Все твои муки бесполезны.— Он помолчал. А когда заговорил снова, тон его был совсем иной, в нем слышались теплота и сострадание. Узкие губы его задрожали.— Я скоро уеду, и мне захотелось увидеть тебя, сказать тебе в лицо — ты подвел меня! Я попросил разрешения прийти

сюда, чтобы спросить: останутся ли твоя вера и совесть спокойны, когда ты узнаешь, что будущее другого человека погублено из-за тебя? Знай, я вымолил разрешение на эту встречу. Увы, вместо того чтобы бросить тебе упрек, я понял: справедливее будет тебя пожалеть, разделить твою боль. Прости, я ничем не могу тебе больше помочь. Но, как бы двусмысленно ни было нынешнее мое положение, в чем бы ты ни подозревал меня, как бы ни презирал, я все равно буду протестовать против зверского обращения с тобой. Так велит мне моя совесть. Не могу допустить, чтобы с человеком обходились подобным образом — пусть он и враг! Ты мне симпатичен, я уже говорил тебе об этом. Моя семья тоже многое испытала, но это разговор особый. Я знаю, что такое страдание, и никому такого не пожелаю.

Молча слушал я его, не перебил ни разу. Меня колотил озноб. Что-то тревожное, неуловимое крадучись ползало вокруг, пятилось и возвращалось снова, глядело на меня, я чувствовал на себе его дыхание. Следователь направился к двери, растерявшись, я не нашелся с ответом. Мне стало страшно. Я хотел крикнуть, задержать этого непонятного человека, прежде чем он исчезнет за дверью, но он вдруг остановился сам, медленно обернулся и сказал, улыбаясь:

— Если бы ты тогда послушался меня, мы оба не попали бы в беду. Но я постараюсь сделать для тебя все что смогу. Боюсь только, ты опять не захочешь помочь мне. Подумай о нас обоих, о том, что ожидает нас, тебя и меня. Да-да, подумай как следует о нас обоих, о наших женах и детях. И вообще обо всем, что я тебе сказал. Если смогу, постараюсь еще раз тебе помочь.

Дверь закрылась, и в устрашающей тишине на меня снова нахлынули холод и отчаяние. И все же в эту страшную ночь во мне еще теплилась надежда. Пусть слабая, трепетная, она противилась ледящему мраку и безысходности. О, как хотелось мне, чтобы надежда эта стала зримой, осязаемой! Я питал ее живительными крупницами мечты, помогал ей окрепнуть...

Что, если вернется следователь, склонявший меня изме-

нить своим убеждениям, предать родину? Тот самый, чье положение, по его словам, якобы еще хуже моего... Очень даже возможно, что он вернется и снова начнет меня допрашивать. Что я ему скажу? Меня обуревали самые противоречивые мысли. Если я буду молчать и упорствовать, он может передать меня в руки палачей, и тогда — конец. Но выдай я хоть малую часть того, что мне известно, враги захотят узнать и остальное. А я немало знаю о наших войсках, их вооружении, дислокации отдельных частей. Вдруг, обессилев, я не смогу противиться следователям и они пытками и угрозами вырвут у меня показания? Как быть? Прикидывая и так и этак, я пытался найти приемлемый выход. А может, дать им какие-то незначительные сведения, бросить, как говорится, косточку псу? Вреда этим я никому не причиню, а положение мое, возможно, переменится к лучшему. Мысль эта вызывала во мне отвращение. О боже, как я мог даже подумать такое?! Ведь это первый шаг к предательству. Я растерялся, от волнения задрожали руки. Нет, я не был трусом и никогда им не стану, не куплю себе жизнь ценой подлости и измены... Они хотят унижить меня, запятнать честь солдата. Не выйдет! И одно-единственное слово, способное нанести вред моей стране, — это уже предательство! Какая разница между теми, кто выдает важную тайну или самый незначительный секрет? На пути к измене страшен любой шаг и первый — особенно. Хотя, где уж там шагать мне, безногому. Улыбнувшись про себя этой мысли, я снова стал серьезным.

Украсть яйцо — все равно что украсть верблюда: и то и другое — преступление. Так говорила мне мать. Однажды в детстве я тайком забрался в курятник и стащил яйцо. Я хотел обменять его на сладости. Подстрекателем здесь стал сын нашего соседа Хусейна. Купив сладости, он лизал их потихоньку, а я стоял рядом, глотая слюнки. Я просил: «Дай хоть попробовать». Но он отвечал: «Пойди купи». Он так причмокивал и расхваливал лакомство, то и дело показывая мне язык, что я не выдержал. Пошел к отцу и попросил у него десять киршей на сладости, но он не дал.

Вот тогда-то я забрался в курятник, стащил из гнезда яйцо, спрятал за пазуху и вышел во двор, мечтая купить целую горсть конфет. Прямо возле курятника я наткнулся на мать. Она, притаившись, поджидала меня у двери. Земля закачалась у меня под ногами. Мать схватила меня, отобрала яйцо. Не помогли ни слезы, ни объяснения. Суровая трепка и поучительные слова «Украсть яйцо — все равно что украсть верблюда» дали отличные плоды. Этого мало, мать отвела меня к отцу, он как раз читал молитву. Я стоял рядом с ним, пока он не дочитал ее до конца. Мать, показав ему яйцо, объяснила, в чем дело. Доброе, усталое лицо отца от гнева покрылось багровыми пятнами. Зная наперед его намерения, мать сказала: «Я уже отшлепала его дважды». Я плакал, пытаюсь разжалобить отца, — рука у него была тяжелая. Но он, вместо того чтобы задать мне взбучку, сказал: «Сядь и послушай. Я расскажу тебе одну короткую историю». Я сел, дрожа от стыда и вытирая ладонками слезы. Жестом пригласив мать сесть рядом, он начал так: «Одного злодея приговорили к смертной казни через повешение. В чем только его не обвиняли: в убийстве, разбое, воровстве. Когда пришло время исполнить приговор, его вывели на площадь, где совершали обычно казни, связали руки за спиной, накинули петлю на шею и спросили: «Чего ты хочешь перед смертью? Каково твое последнее желание?» Он отвечал: «Ничего, хочу только увидеть мать». А она плакала, стоя в толпе. Ее окликнули и разрешили приблизиться к сыну. «Пусть она подойдет еще ближе», — сказал осужденный, и, когда женщина подошла, он сказал: «Мама, позволь поцеловать тебя перед смертью». Мать поцеловала его. «Нет, — сказал сын, — я хочу поцеловать твой язык, высунь его, будь добра». Она удивилась просьбе сына, однако исполнила ее. И тогда он впился зубами в ее язык и откусил его напроочь. Мать с глухим воплем упала у его ног. «Почему ты так поступил со своей матерью?» — спросил изумленный палач. «Это она привела меня на виселицу! Еще мальчонкой стащил я как-то в соседском курятнике яйцо и принес ей. Она ни словом не упрекнула меня и взяла яйцо. Потом я

украд у другого соседа вещи, мать приняла и их, не осудив мой проступок. В третий раз она даже обрадовалась и похвалила меня за бесчестное воровство. Похвала эта придала мне смелости, я стал настоящим вором, грабителем и убийцей. А произнеси тогда ее язык то самое слово, какое обязан был сказать, я не стоял бы сегодня здесь, перед вами, с петлей на шее. В моем грехопадении повинна одна мать!» Смахнув слезы, я поднял голову. Слова отца запали мне в душу...

Воспоминания о матери успокоили меня. Я позабыл даже о ледяном дыхании камеры, надо мной витали добрые духи. Их незримое присутствие укрепило мою решимость и твердость. Постепенно забыл я и тяжкие раны свои, боль и мимолетную надежду, охватившую меня, когда за следователем закрылась дверь. Ощувив прилив сил, я снова видел себя бойцом. Нет, я не изменю родине, не предам своего народа! А если придется умирать, умру, как положено воину. Чем я лучше тысяч и тысяч погибших в бою, попавших в плен, гниющих в застенках? Я не замараю свою честь и честь страны.

Мысли эти как чудодейственный бальзам возвращали меня к жизни. Мои глаза засверкали, я стиснул зубы, твердя про себя: «Решено, плюну в лицо любому из них, а там будь что будет». Наверно, таковы ощущения человека, ступившего на тропу, где его подстерегают волчьи ямы. Эти палачи вымотали мне все нервы. Все они звери, хотя у каждого свои приемы и повадки... Вдруг мне почудилось, будто я, качаясь на волнах, плыву по бескрайней реке — мне открывалась судьба моей родины, нелегкая, но славная судьба. Будущее родины — вот что волновало меня...

Тем временем холод заметно усилился. Вскоре я мог думать лишь об одном — уцелею ли, выдержу ли этот леденящий натиск стужи? Меня колотил озноб. Плохо дело: похоже, палачи решили меня заморозить. Следователь предупредил, что мне несдобровать; наверно, решил осуществить свои угрозы. И все же я не был уверен в этом окончательно. «Гуманный» следователь казался не столь опас-

ным, он вроде сохранил еще остатки человечности. Как знать, не поможет ли он мне избежать издевательств и пыток? Возможно, он искренне сочувствует мне. Во всяком случае, его методы обращения куда лучше, чем зверские приемы его «коллеги». Хотя оба — одного поля ягоды и цель у них одна и та же. Но ни тому, ни другому ничего не добиться. Я не из тех, кто меняет свои убеждения. И все же, по мне, пусть возвращается «гуманист», он по крайней мере распорядится прекратить пытку холодом. А я не хочу превратиться в ледяную глыбу, жизнь, несмотря на плен, страдания и боль, мне по-прежнему дорога.

Почему? Да просто я люблю эту нашу жизнь, люблю свою жену, детей... Вдруг я почувствовал: со мной что-то происходит. Казалось, нечто неведомое растет и зреет во мне, готовясь проклюнуться наружу, как птенец сквозь яичную скорлупу. Кровь моя вроде замедляет свой бег по жилам, густеет, застывает. По нервам, мерцая, устремляются сильные импульсы. Сердце, все тело пронизывают неведомые токи. Глаза застилает туман. Я больше не чувствую ни рук, ни израненных ног. Но какие-то ощущения еще связывают меня с внешним миром. Я понимаю: вот открывается дверь... Возникает силуэт человека, он наклоняется, заговаривает со мной. Я слышу его голос, до меня доходит смысл его вопроса, и я боюсь, как бы не ответить на него вопреки своей воле. Пытаюсь собраться с силами. Я должен, должен быть осмотрительным, не ошибиться, не просчитаться, а в моем положении это так нелегко!.. И еще возникает мысль: раз уж человек вошел в мою камеру, он что-то предпримет, и на смену холоду, омертвившему мое тело, придет живительное тепло. Снова затеплилась надежда, я продолжал бороться за жизнь.

— Как ты теперь себя чувствуешь?

Я с трудом разлепил веки. Расплывчатое лицо его походило на маску. Он улыбнулся и продолжал:

— Я упросил их, мне дали последнюю возможность спасти тебя. В какой-то мере это поможет и мне. Я заберу тебя отсюда и велю им прекратить безобразие. Представляешь,

опоздай я всего на пять минут, они заморозили бы тебя окончательно. Какое варварство! Это же произвол! Неужели они не отличают хороших людей, вроде тебя, от подонков? Почему не считаются с тем, что ты муж и отец, любишь свою жену, мечтаешь увидеть детей? Не волнуйся, жизнь тебе сохранят. Мы будем сотрудничать, чтоб поскорее покончить со всем этим. Я сказал им, что ты доверяешь мне и наше сотрудничество дает отличные результаты. Разве я не прав?

Я не ответил. Он шагнул к двери и сказал, уходя:

— Они привезут тебя в мой кабинет. Жду тебя. Там тепло, и мы с тобой выпьем кофе. Нет, лучше чай, он согреет тебя, восстановит твои силы.

Его шаги, доносившиеся из-за двери — она осталась открытой, — затихли вдали. Прошла минута, дверь не закрылась. Сейчас в нее живительным потоком хлынет тепло, и я вновь оживу, смогу дышать, мыслить... Но вернутся пытки и боль, я снова потащусь по тернистой дороге смерти, и остановок на ней, по всему судя, больше не будет. Сколько же все это продлится? Но вот шаги послышались снова. Я весь напрягся, сердце заколотилось. Я впился взглядом в дверной проем. Когда один из вошедших мужчин подхватил меня на руки, я был готов к новой схватке. А пока — не думать ни о чем, закрыть глаза, заглушить слух...

Х

Вернувшиеся в барак заключенные, не обнаружив меня, недоуменно переглядывались, не понимая, куда подевался их сосед. Одни полагали, что меня перевели в одиночку, другие решили — я снова в камере пыток.

— Неужели эти псы опять пытаются Мухаммеда аль-Масуда?— со страхом спросил Рияд у Саида.— Вряд ли он выдержит новое испытание.

— Надо попробовать хоть что-нибудь выяснить,— сказал Саид и, ухватившись за прутья решетки, крикнул надзирателю:— Куда вы дели нашего товарища?

— Которого?

— Того, безногого. Он лежал в углу, когда мы ушли на прогулку.

— А тебе какое дело?

Надзиратель холодно посмотрел на терявшего самообладание Саида, подошел вплотную к двери и, приставив к глазам Саида длинное шило, процедил сквозь зубы:

— Если не заткнешься, последуешь за ним.

Саид, ошеломленный, попятился. Заключенные смотрели на надзирателя с ужасом. Раздались чьи-то голоса:

— Что с пленным?

— Он умер?..

— Чего лезете не в свои дела?!— крикнул надзиратель.— Доложу начальству — сами знаете, худо вам будет!

Заключенные отхлынули назад, а он снова уселся на свое место. В бараке повисла напряженная тишина.

Саид затерялся в толпе. Рияд и еще кое-кто из заключенных последовали за ним. Отойдя подальше от решетки,

они остановились, обступив Саида. Он сжал кулаки:

— Мы военнопленные, а они обращаются с нами как с уголовниками!

— А зачем им вести себя по-другому? Они могут делать с нами все что угодно. Это наши лютые враги, чего еще ждать от них? Не будем наивными, братья!— гневно выкрикнул один из заключенных.

— Права военнопленных оговорены в международных соглашениях. Женевскую конвенцию соблюдают все государства.

— Все, кроме Израиля. Он уважает только силу, больше его ничем не проймешь.

— Неужели нет никакого способа обуздать нарушителей международных актов? Как заставить сионистов уважать волю народов и права человека? Наверно, правительству нашему не хватает твердости.

— Не преувеличивай! И отчаиваться не надо — мы должны и здесь быть сильными. Понял?

— Слушаюсь, мой господин!— Споривший с Саидом заключенный, побелев от гнева, насмешливо отдал честь. Потом поднял руку, призывая окружающих к молчанию, и крикнул:— Все мы здесь в плену — на волосок от смерти! Нас в любой момент могут потащить на бойню, как баранов, а ты хочешь нас успокоить? Защищаешь наших руководителей? Но будь они порешительней, с нами бы не обращались так. Представители Красного Креста разок заглянули сюда — и ни ответа, ни привета. Нас попросту бросили!

— Возможно, ты кое в чем и прав,— спокойно возразил Рияд.— Не забывай, однако, мы в руках у врагов, помни о воинской чести, никто не имеет права ее замарать. Мы не должны ни единым словом осуждать нашу родину, просчеты или ошибки нашего руководства. Этим ты сыграешь лишь на руку врагам. И не падай духом. Лучше потом поговорим, а сейчас давай подумаем, как помочь Мухаммеду аль-Масуду.

Страсти немного поутихли.

— Этот случай с ним,— сказал Саид,— хороший повод

для разговора с администрацией тюрьмы. Давайте потребуем, чтоб соблюдали Женевскую конвенцию. Это — законно.

— Верно,— одобряюще кивнул Рияд.

— Кто знает точно, каковы права военнопленных?— спросил Саид.

Узники зашептались.

— У нас тут одно право — право на смерть,— проворчал сосед Саида.

Другой сердито ткнул его локтем:

— Молчи!

Спорщик отвернулся к стене и притих.

— Ахмед Султан знает.

Бледный невысокий человек протиснулся сквозь толпу к Саиду.

— Я знаю кое-что об этом. Мы имеем право на гуманное обращение и не обязаны предоставлять противнику сведения, касающиеся безопасности нашей родины, боеспособности, численности и вооружения наших войск. Через международный Красный Крест и Полумесяц можем посылать письма родным и требовать приезда представителей этой организации. И еще нас должны кормить по-человечески.

— Ладно, хватит... Главное, что сейчас важно,— не умереть под пыткой! Да и как добиться соблюдения хоть каких-то наших прав?

Саид переглянулся с Риядом. Тот резким движением головы откинул упавшие на лоб волосы и посмотрел на Ахмеда:

— А если объявить голодовку и таким способом заставить палачей соблюдать элементарные права военнопленных?

Подумав, Ахмед ответил:

— Пожалуй, это подействует. Израильтяне сохраняют нам жизнь. Ведь наши имена известны Красному Кресту и Полумесяцу с тех пор еще, как в лагере побывали их представители. О том, что мы находимся здесь в заключении,

известно и нашему правительству. Израильтяне не смогут этого отрицать, тогда...— Он вдруг запнулся.

— Что с тобой?— нетерпеливо спросил Рияд.— Продолжай!

— ...тогда,— сказал Ахмед,— голодовка — единственный выход для нас.

Заключенные стали переглядываться.

— Итак, решено,— твердо сказал Рияд,— мы объявляем голодовку в знак протеста против зверского обращения с Мухаммедом аль-Масудом. Потребуем от тюремной администрации, чтобы к нам относились как к военнопленным и организовали встречу с представителями Красного Креста и Полумесяца.— Он поднял руку и спросил:— Все согласны?

— Все!.. Все!..

— Значит, с сегодняшнего дня мы начинаем голодовку.

Толпа разом вздохнула. «Голодовка!.. Голодовка!..»— повторялось на все лады. В этом слове звучали надежда, решимость и стойкость.

Охранники за дверью заметили какое-то волнение среди пленных, и в глазах у них загорелась ярость.

Истекали пятые сутки голодовки заключенных, когда к решетке в сопровождении двух помощников подошел начальник тюрьмы. Он обратился к заключенным по-арабски:

— Почему вы объявили голодовку? Чего вы хотите? Ответа не последовало.

— Мне известно, что вы военнопленные,— продолжал начальник.— Мы учитываем это и обращаемся с вами лучше, чем вы с нашими пленными. Мы стараемся быть гуманными, вы сами часто вынуждаете нас прибегать к строгим наказаниям. Зря вы упрямитесь и не подчиняетесь приказам. Я пришел предупредить вас — если не прекратите голодовку, за последствия не ручаюсь.

Начальник тюрьмы подождал несколько минут, надеясь услышать какой-либо ответ. Заключенные молчали. Многие отвернулись, чтобы тюремщик не угадал по выражению

лиц обуревавшие их чувства. Кое-кто избегал его взгляда, боясь, как бы он не понял, насколько мучительна для них эта пытка голодом.

Люди исхудали, побледнели, некоторые едва держались на ногах от слабости. Но никто не колебался — голодовка будет продолжаться.

Начальник ушел ни с чем. Прошел еще один день, и тюремщики заволновались. Одного за другим заключенных таскали на допрос, желая узнать, кто организаторы голодовки, подстрекавшие людей к неповиновению. Одних тюремщики запугивали, других пытались обмануть, третьих — подкупить. Беспокойство тюремных властей усилилось. В бараке снова появился начальник тюрьмы.

— Я хочу услышать ваши требования, чтоб изучить их.

Заключенные переглянулись: ловушка? Хитрая уловка, чтобы выявить вожака? Наверно, так и есть. Но кто-то же должен выступить от имени всех. Саид, он стоял позади Рияда, шепнул:

— Пожалуй, я ему все выложу.

Рияд, не оборачиваясь, сказал:

— Нет, подожди. Я сам поговорю с ним, потерпи немного.

Начальник тюрьмы, смотревший на заключенных с напускным безразличием, едва сдерживался.

— Все ваши требования, которые я сочту разумными, будут выполнены. Но для этого я должен знать, чего вы хотите. Обещаю, тот, кто будет говорить от вашего имени, не понесет никакого наказания.

Саид резко выпрямился, одновременно встали все заключенные, в том числе и Рияд.

— Ты пока помолчи,— шепнул ему Саид.— Так будет лучше.

Рияд не послушался.

— Мы — военнопленные,— громко сказал он.— Наши права четко сформулированы в международных договорах. Вы забыли о них. Для вас они не существуют, ваше обращение с нами — прямое тому подтверждение. Вы пытаете нас, используете самые гнусные методы, чтобы добыть нуж-

ные вам сведения. Кормят нас отвратительно. Мы требуем: либо обращайтесь с нами по-человечески, либо расстреляйте нас. Дайте нам возможность встретиться с представителями Красного Креста и Полумесяца. Мы хотим также знать о судьбе нашего раненого товарища Мухаммеда аль-Масуда, который был здесь, в бараке. Мы хотим видеть его! Вы опять пытаете его, а он не успел еще оправиться от прежних пыток. Вы зверски убиваете заключенных!

Начальник тюрьмы затрясся от гнева, лицо его налилось кровью. С трудом взяв себя в руки, он придал своему голосу доброжелательное выражение:

— Если ты так убежден в своей правоте, почему бы тебе не подойти поближе? Выходи сюда, тогда и поговорим.

Рияд, не вняв его совету, продолжал:

— Ты знаешь, почему я не делаю этого.

— А чем ты докажешь, что говоришь от имени всех заключенных?

В бараке поднялся шум:

— Верьте ему!

— Он не лжет!

— Мы все попросили его говорить...

Начальник тюрьмы был немногословен, но по дрожи в его голосе можно было понять, сколько накопилось в нем ненависти:

— Отныне вы можете рассчитывать на хорошее обращение и доброкачественную пищу. Вы распространяете нелепые слухи о судьбе вашего раненого товарища. Нам не известно, где он сейчас находится. Кроме того, мы не обязаны отчитываться перед вами в своих действиях. У нас нет заключенного с таким именем. Можете мне поверить. Заботьтесь лучше о себе. Запомните — о себе. На этот раз я выполняю ваше требование при условии, что вы прекратите голодовку. Но если подобное повторится, я переведу вас всех в одиночные камеры, и то, что было с вами раньше, покажется вам детской забавой. Повторяю: я, так и быть, выполняю ваше требование. И еще запомните твердо: хоть вы и у нас в руках, с вами обращались хорошо. Вы встре-

титесь с представителями Красного Креста и Полумесяца, только если прекратите голодовку и...— он позволил себе улыбнуться,— если побреетесь.

Начальник тюрьмы ушел. Тяжкое бремя спало с плеч Рияда. Заключенные стояли, по-прежнему ожидая общего решения.

Саид был недоволен:

— Они не признаются, что повинны в смерти аль-Масуда!

— Пока мы не уверены в его гибели,— ответил Рияд,— доказательств у нас нет. А голодовку нужно прекратить, тогда мы сможем встретиться с представителями Красного Креста и Полумесяца и сообщить им о нашем товарище.

Вскоре заключенным принесли еду. Изголодавшиеся узники жадно набросились на безвкусное варево, и через несколько минут ржавые, помятые миски засияли первозданной чистотой. Как будто небо прояснилось над людьми. Жажда жизни снова вспыхнула в них, все теперь виделось сквозь розовые очки надежды.

На другой день в камеру принесли бумагу и ручки, чтобы каждый мог сообщить о себе родным. А на следующее утро представители международного Красного Креста и Красного Полумесяца внимательно выслушали подробный рассказ Саида и Рияда о раненом их товарище Мухаммеде аль-Масуде и страшных пытках, которым он подвергался во время допросов.

XI

Дом старосты деревни Кахиль. В гостиную набилось полно народу. Мужчины сидели, скрестив ноги, касаясь коленями друг друга. На ярких шерстяных коврах расставлены металлические пепельницы и пиалы с теплым, похожим на темное вино чаем. В центре, возвышаясь на мангале, как игрушечная корона на голове невесты, пофыркивал медный кофейник. Люди гудели, точно потревоженные пчелы, в их душах — смятение, глаза прикованы к двери: вот-вот войдет староста.

Новость волной прокатилась по деревне. Везде только и разговоров было что об этой новости. Люди доверчивые и маловеры скопом поспешили к старосте — выяснить суть дела. Последним, перед самым приходом старосты, явился Ахмед аль-Хасан. Он тщательно подкрутил усы и тоже уселся, скрестив ноги, касаясь коленями соседей. Маленькие глазки торговца, точно проворные мышки, бегали по сторонам. Не совладав с собой, он шепнул соседу:

— Правда ли то, что говорят?

— Об этом знают один лишь Аллах да наш староста. А вот, кстати, и он сам.

Вошел староста, все встали. Жестом пригласив земляков садиться, он важно уселся рядом с кофейником. Старейший из присутствующих, Джабир, погладил ладонью свою благообразную бороду и спросил:

— Надеемся, все в порядке, староста? Какие вести?

Но староста не спешил отвечать; он собрал в горсть концы своей абы на груди, обвел пристальным взглядом присутствующих, как бы пересчитывая собравшихся, и,

заметив Ахмеда аль-Хасана, чуть заметно улыбнулся. Однако тотчас вновь посерьезнел.

— Вести хорошие,— сказал он,— куда уж более! Слава Аллаху, он жив!

— Жив? О Аллах!— не удержался Ахмед аль-Хасан, слова его прозвучали как стон.

— Он в плену,— продолжал староста.— Наши люди видели его. Правда, Красный Крест еще не подтвердил эти данные. Правительство наше потребовало его выдачи, официальный ответ пока не поступил. Как видите, сведения еще должным образом не подтверждены, но и не опровергнуты. Враг не признается, что Мухаммед находится в плену.

Лицо Ахмеда аль-Хасана прояснилось, он провел рукой по усам:

— Выходит, весть неточная.

— Аллах знает. Видели его люди, вернувшиеся из плена. Они сообщили об этом властям и утверждают, будто он болен. Израильтяне пытали его зверски, желая получить секретные сведения. Изолировали его от товарищей по бараку, хоть он и в тяжелом состоянии.

Джабир вскочил, седая борода его затряслась:

— Горе пленнику в стране неверия и гнета! Враг не пощадит его, растерзает, разорвет и выбросит останки его на свалку. А мы, его земляки, друзья его, далеко. Не можем ничем ему помочь. О Мухаммед, тело твое истерзано, отчаяние и пытки сломили твой дух. Я-то прошел через ад многих тюрем и знаю, что вынес ты. Горе тебе, пленник, тысячу раз горе! Позор! Позор тем мужчинам, которые вместо того, чтобы сражаться с врагом, заняты лишь своими усами, доходами да погоней за чинами и наградами! Они позорят нашу веру, народ наш. Groш цена этим жалким трусам! Я стар, изранен и болен, но, будь у меня силы, я поспешил бы к тебе, о Мухаммед аль-Масуд, чтобы умереть вместе с тобой или помочь тебе спастись!

— Положись на волю Аллаха, о шейх Джабир. Есть кому отомстить за него.

— Все во власти Аллаха. Судьба человека предопределена. О всемогущий, помоги нашему Мухаммеду.

Шейх Джабир вытер слезы и вернулся на свое место, стараясь успокоиться. Люди угрюмо молчали, глядя на взволнованного шейха. Наконец Джабир поднял голову и заговорил, слабый голос его дрожал:

— Простите меня, люди, прости и ты, староста. И пусть простят меня те, кто будет мстить за аль-Масуда. Надеюсь, я никого не обидел? Но в душе моей, о люди, вспыхнуло пламя, кровь забурилась в жилах, а ведь она настояща на вековой печали предков. Мое поколение прожило свой век, уходит наша жизнь, вместе с нею уходят наши горести и беды, наши радости. У нас уже все в прошлом. Простите меня, земляки, я никого не хотел обидеть. Я готов, сколько хватит сил, служить вам. Я сказал свое слово, о люди. Все мы сойдем в могилу, земля в положенный срок поглощает живущих на ней, она дает и берет, и время — как катящееся колесо. Простите же меня, люди...

Обильные слезы потекли из глаз Джабира. Он вытер покрасневшие глаза полой кудады*, встал и, шатаясь, направился к двери. Двое пожилых мужчин поддерживали шейха под руки. Уход Джабира послужил сигналом, люди стали расходиться.

Последним ушел Ахмед аль-Хасан. Понурясь и избегая взгляда старосты, вышел на улицу. До самой своей лавки он шел, глядя под ноги, чувствуя, будто согрешил и повинен в чем-то перед людьми. Но в душе его зрело и несогласие: «За что? Я ведь не сделал ничего дурного. Я думал о Зейнаб, будучи убежден — муж ее умер. Мои намерения были честными. Я хотел избавить ее от нужды, стать защитой и опорой вдове и детям покойного. А Мухаммед аль-Масуд жив! Хотя, быть может, сейчас он уже мертв. В плену случается всякое. Только вот Зейнаб, услышав радостную весть, воспрянет духом. Надежды заполучить ее теперь — никакой. Остается одно — забыть ее и вместе с ней всю

* Кудада — местное название шелкового платка, которым покрывают голову.

эту историю...» У лавочника ноги подкосились, когда он вспомнил недобрую улыбку старосты. «Похоже, старик что-то пронюхал. Неужто по деревне поползли уже слухи и дошли до него? Потому-то небось и обронил он свой гнусный намек? Злорадствует, старый шайтан!..» Улыбка старосты унижала Ахмеда аль-Хасана, мешала его уверенности в себе. В нем словно надломилось что-то. Если староста рассчитывал на это, он, безусловно, добился успеха. «Все,— думал Ахмед аль-Хасан,— хватит! Надо взять себя в руки. Нечего больше и думать о Зейнаб. Если ее муж и вправду жив, всему конец. Но даже если это просто слухи, она все равно будет ждать мужа долгие годы... Будет ждать, хотя ей придется трудно. Может, еще не все потеряно и Зейнаб, сломленная нуждой, согласится стать моей любовницей? Да-да, я должен овладеть ею до возвращения мужа. А вдруг она не надеется больше на его возвращение?— От этой мысли усы его изогнулись дугой, но тотчас уныло обвисли.— Нет,— подумал он,— с какой стати Зейнаб отдастся мне, если столько лет билась в нужде, пока муж был в Кувейте, служил в армии, воевал, и сохранила себя в чистоте? За все эти годы она ни разу ничего у меня не попросила. У этой женщины сильная воля, она не уступит...— Придя к такому выводу, Ахмед аль-Хасан тяжело вздохнул:— Что ж, видно, так тому и быть!» Он решил закрыть лавку и пойти домой. Но, подойдя к лавке, он увидал Умм Сулейман. Она стояла у порога и любезно улыбалась ему, отвечивая поклоны. Ахмед аль-Хасан задумался, глядя на нее. Он был уверен: старуха сообщит ему нечто о Мухаммеде аль-Масуде, она ведь многое знает. Умм Сулейман заметила его смущение, но о причине волнения торговца не догадалась. А он стоял и ждал. Еще недавно он встречал Умм Сулейман с радостью, завидев ее на пороге лавки, весь светился, ликовал, усы его плясали. Он всякий раз радушно приветствовал старушку, учтиво осведомлялся, чего ей хочется, что нужно. Сегодня же он был мрачен, морщинистое лицо покраснело от еле сдерживаемого гнева. Умм Сулейман насторожилась.

— Что с тобой?— спросила она.— Ты чем-то расстроен? Надеюсь, все в порядке?

Но Ахмед аль-Хасан уже успел взять себя в руки, взгляд его снова стал добрым, лицо — приветливым. Еще одно небольшое усилие, и он даже улыбнулся ей:

— Нет-нет. Просто заботы, дела житейские.

Умм Сулейман, осмелев, улыбнулась в ответ:

— Мне бы полкило сахара и четверть окийи* чая, Ахмед. Хочу проведать бедняжку Зейнаб, принести ей гостинцев. Аллах избавил ее и детей от печали, да избавит он от удручения всех скорбящих. Ты, конечно, слышал весть о ее муже?

Ахмед аль-Хасан смотрел на старуху: эта змея пожирает его мечты, надежды, все, что построил он в своих мыслях о будущем. Приползла, злорадствуя, в его лавку. Он даже оцепенел на мгновение, не зная, что сказать, как быть. Понимая, что теперь все изменилось, он не хотел признаться себе в этом. В глазах Умм Сулейман он увидел нетерпение, она явно хотела чего-то, но чего, он никак не мог уразуметь. И вдруг, криво усмехнувшись и сжав губы, словно подавив крик разочарования, он сказал негромко, напирая на каждое слово:

— Ты опоздала, Умм Сулейман. Лавка закрыта.

Захлопнув дверь, он повернул ключ в замке. Умм Сулейман застыла в растерянности, не веря своим ушам. И поняла наконец, что случилось, лишь когда Ахмед аль-Хасан повернулся к ней спиной и зашагал к своему дому. Она долго смотрела ему вслед, ей было горько, обидно и больно. Затем, гордо выпрямившись, стукнула палкой по выщербленному порогу лавки и поплелась к дому Мухаммеда аль-Масуда.

В сердце опечаленной, встревоженной Зейнаб боролись надежда и отчаяние. Шейх Джабир, проходя мимо ее дома, и виду не показал, сколько пережил он в эти дни, узнав о судьбе Мухаммеда. Шейх был прав: Зейнаб все еще не

* Окийя — мера веса, равная 37,44 г.

могла успокоиться, часто плакала, а когда думала о возможной встрече с мужем (надежда в эти минуты брала верх), кровь прилиwała к ее бледному, осунувшемуся лицу. Дети же восприняли новость с легкостью, присущей их возрасту,— они смеялись, ликовали, веселились во дворе. Им ясно было одно: папа жив и, само собой, вот-вот придет. А Зейнаб терзалась сомнениями, предчувствия — одно страшнее другого — мучили ее. Ужасней всего была бесконечная неопределенность: ведь он страдает от ран, враги глумятся над ним... Единственное, что успокаивало Зейнаб,— сознание того, что муж жив. Эта весть принесла ей разом надежду и скорбь, всегда так тесно связанные в нашей жизни.

Умм Сулейман пыталась утешить Зейнаб:

— Радуйся, твой муж жив, чего же ты еще хочешь? Со временем все образуется. Правительство добьется его освобождения, и Мухаммед вернется к вам. Если он болен, ранен, будет лечиться и поправится. Все будет хорошо.

Она укрепила надежду в сердце Зейнаб. Потом соседи, Варда аль-Халид и Салима аль-Джума, в свою очередь помогли ей отвлечься от грустных дум.

— О мать Зейда,— сказала Варда,— слава богу, твой муж жив. Значит, он возвратится домой, к вам. Если будет угодно Аллаху, не пройдет и недели, как Мухаммед благополучно вернется домой, вернулись же его товарищи.

Салима подтвердила слова подруги. Умм Сулейман согласно кивала. Слушая соседок, Зейнаб плакала: наверно, они правы. Выпроводив их под благовидным предлогом, она почувствовала, что опустошена и ей понадобятся вся сила духа и воля к жизни, чтобы как-то оправиться.

Она прижимала детей к груди и горько плакала. И они, глядя на мать, утирали слезы. Выплакавшись, Ахмед, самый младший, заснул. Слезы на его щеках высохли. Уложив детей в постель, Зейнаб стала молить Аллаха помочь ей в тяжком ее положении. Слезы облегчили ее, смыли тяжесть, лежавшую на душе. Слезы иссякли, но горло сжимали спазмы. Надо взять себя в руки.

Наконец Зейнаб успокоилась, солнце озарило ее душу, рассеяло тучи горечи и печали. Спокойствие придало ей силы. Она поняла: нужно жить, делать все, что положено женщине от века, — вести дом, заботиться о детях и ждать. Терпеливо, безропотно ждать.

Мучительным было ощущение собственного бессилия — она не смогла помочь мужу в самое тяжелое для него время, избавить его от страданий, хоть отчасти их облегчить. Конечно, не ее единственную постигла такая судьба. Ведь у многих солдаток мужья оказались в плену. Шейх Джабир сказал ей: правительство бессильно сделать что-нибудь, пока нет даже полной уверенности, что ее муж действительно находится в лагере для военнопленных. Значит, правительство тоже бессильно — совершенно бессильно, как и она сама? Но она-то всего лишь слабая женщина, а правительство, оно может что-то сделать, может помочь. Мысли ее смешались, она не знала, как быть, что предпринять, чтобы помочь мужу. Как вырвать его из рук врага? Казалось, солнце угасло, жизнь утратила смысл. Только любовь к детям и надежда служили ей опорой. «Выдержать, выдержать!» — твердила она и гладила по головкам спящих детей.

Сон ее был тревожным. Засыпая, она тотчас просыпалась, чтобы через несколько минут снова забыться ненадолго. Малейший шум, долетавший с улицы, заставлял ее вздрагивать, пугал. Чтобы скоротать ночь, она вспоминала мужа. Встав с постели, она подошла к двери и снова вернулась к детям. Мухаммед аль-Масуд жив, думала она, и сумеет преодолеть любую преграду, возвращаясь к своей семье. Он жив — этим нужно утешиться. Все прочее — пустяки. Он вернется. Боль канет в небытие, исчезнут даже следы страданий. Больная плоть может исцелиться, главное — чтобы дух не поддался мучениям и боли. Муж вернется, и она постарается так устроить его жизнь, чтобы он позабыл все ужасы плена. Пусть возвратится беспомощным, изувеченным, прикованным к постели — лишь бы вернулся. Она поможет ему встать на ноги. Служение мужу станет для нее смыслом жизни, спасительным средством не только для Мухаммеда, но и для нее самой. Вся жизнь еще впереди!..

ХII

«Гуманный» следователь, потеряв над собою власть, сжал кулаки и закричал мне в лицо:

— Жалкий червь, ты заслуживаешь одного — смерти!

Его слова ударили мне в уши. Пол подо мной закачался, стены куда-то поплыли. Вдруг я успокоился: все встало на свои места, маска сброшена, гуманность, как я и ожидал, оказалась фальшивой, «дружба», которую так настойчиво предлагал он мне, тоже липа.

Попытка следователя одурачить меня позорно провалилась. И я ликовал. Он предложил мне свою дружбу вместе с пиалой горячего чая и задержал меня на пороге смерти. Я едва не попался на его уловки. Еще когда он явился ко мне в одиночку положить конец пытке холодом, я понял: это лишь ход в задуманной палачами игре. Но я любил жизнь, цеплялся за нее. Человек цепляется за жизнь, даже когда она продлевает его несчастья и муки. Что это — страх перед смертью или неодолимое желание хоть раз вкусить в жизни счастья?

Когда меня подкатили в кресле к следователю, я поклялся себе сохранять спокойствие, не поддаваться на его хитрости и думать о чем-то другом, чтобы не слышать его вопросов. Молчать, во что бы то ни стало молчать! Все, что я мог сказать ему, уже сказано. А остальное, потаенное, сокрыто в тайниках моей души, и дороги к этим тайникам нет.

Следователь сердечно толковал о дружбе, самопожертвовании, сотрудничестве. Предложил мне выпить чаю и ответить на его вопросы, как мы, по его словам, якобы договорились. Но я молчал. Он угрожал передать меня другому следо-

вателю: тот, мол, только и ждет его провала. Короче, старался как мог.

Я смотрел на него и упрямо молчал — как та скала: в ней было нечто от меня, а теперь во мне обнаружилось нечто от каменной ее непрístupности. Если следователь слишком уж наседа́л, я снова и снова думал о той скале. Мысли о ней — величавой и несокрушимой — придавали мне силы, и я продолжал молчать. Мое упорство, конечно, выглядело вызывающим, но следователь не оставлял своих попыток. А я, внимательно наблюдая за ним, прикидывал, как мне выстоять и дальше. Вспоминались дни, проведенные вместе с Низаром возле скалы. Вот я осажден, окружен врагами... Но враг — уже не бесчисленные людские полчища, на меня наступает необъятная пустыня. Всюду мертвый сыпучий песок. Я нахожу меж барханов воду, орошаю землю, создаю оазисы. Все вокруг оживает. Пустыня уходит, отступает. Зеленые пальмы — как буквы в завещании потомкам...

Мою мечту разбил вдребезги окрик следователя:

— Где ты? Ты слышишь меня? Отвечай, сын шлюхи!

Я смотрю на него. Он явно в неистовстве. Его бесят мои невозмутимые глаза, неподвижные губы, даже моя боль, которую я так долго терплю. Он кричит и, обезумев, бросается на меня с кулаками. Как хищный зверь, рычит и воет, круша все на своем пути. Вулкан ненависти взорвался, извергая на меня раскаленную лаву злобы и ярости. Он пинает меня, стараясь попасть по ране, по загипсованной ноге...

Чудится мне или вправду открывается дверь, и в кабинет следователя входят люди. Все заволакивает мрак. Последнее, что я слышу, — слова палача, сверлящие мой мозг.

— Грязная тварь! — орет он. — Онемел, как камни его проклятой земли!

Камни... Скалы... Моя земля...

Я — воин, боец за дело арабов! Израненный, истерзанный, лежу я здесь, на полу дома, где когда-то жила арабская семья. Теперь тут хозяин — израильтянин, утверждающий, будто он еле спасся от душегубок Гитлера, будто ему ненавистны насилие и пытки. Во что он превратил этот дом,

всю нашу землю? В тюремный барак! В гигантскую бойню!.. Я понял: наконец-то настало мгновение, когда меня слышит моя семья, земляки, все мои соотечественники! И я говорил им: «Знайте, меня пытали, унижали, втапывали в грязь... Но я не струсил, не предал вас, не опозорил свою честь, честь родины!.. Не забывайте же тех, кто сражался с врагом и во имя победы пожертвовал жизнью. Освободите нашу землю от захватчиков. Я завещаю вам мою скалу... Мать — Голанскую скалу, она защищала меня, и я защищал ее, как мог. Не бросил ее, не опозорил... Пускай нас обоих осилил враг в неравном бою... Освободите ее, гоните врага прочь от священной горы аш-Шейх! Гоните с нашей арабской земли...»

Я на чужбине, в плену. Я вынес все пытки, истекая кровью. И часть моей крови сквозь щели в полу камеры впиталась в землю, смешалась с пролитой прежде кровью моих предков, побежала по корням и жилам растений. Она возродится вновь в юных счастливых потомках, в новых отважных бойцах... Вот моя мать — Голанская скала. Я вижу, как сияет ее лик, разглаживаются трещины, похожие на морщины моей матери... Кровь моя вспыхивает, как факел, освещающая путь солдатам. Я снова вижу верного моего друга Низара, нашего командира, товарищей по полку. Они идут в атаку с винтовками наперевес — по Голанским высотам и Хаурану, по холмам Сирии. Они проходят мимо меня... Но кто там шагает следом за ними? Это Зейд, мой первенец, и его товарищи; в руках у них яркие разноцветные флаги. А еще дальше — Зейнаб, другие женщины и девушки нашей деревни. Я слышу радостные клики и песни. Они славят бойцов, живых и павших. В руке у каждого горсть земли, орошенной кровью... Я знаю, чистый ветер победы овеет чело моей земли, щедрые ливни омоют его. Широко раскинутся сады и пашни, зацветут розы, запоют птицы, зазвонят ручьи, устремятся к морю обильные реки. Поднимутся новые города, встанут фабрики, дома, минареты. Над горизонтом засияют слова любви, братства и справедливости. Я закрываю глаза. Я спокоен...

Орсан А. О.

- 070 Голанские высоты: Повесть/ Пер. с арабск. Э. Али-заде и В. Шагаля. Предисл. С. Кузьмина.— М.: Известия, 1985.—128 с. (Библиотека журнала «Иностранная литература»)

Повесть сирийского писателя Али Окля Орсана «Голанские высоты» посвящена героической борьбе сирийского народа против агрессии Израиля и стоящих за его спиной империалистов США.

О $\frac{4703000000-100}{074 (02)-85}$ — 89—85

**ББК. 84. 5 Ср
И (Сир)**

АЛИ ОКЛЯ ОРСАН ГОЛАНСКИЕ ВЫСОТЫ

Ответственный за выпуск *В. Перехватов*

Редактор *М. Ткачев*

Художественный редактор *С. Мухин*

Технический редактор *Г. Голосовская*

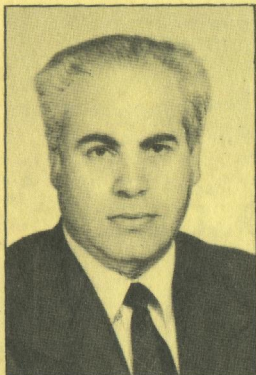
Корректор *Л. Шмелева*

ИБ № 941

Сдано в набор 22.11.84. Подписано в печать 21.02.85.
Формат 70×100/32. Бумага офсетная № 1. Гарнитура
«Таймс». Печать офсетная. Усл. печ. л. 5,2. Усл. кр-
отт. 10,7. Уч.-изд. л. 5,79. Тираж 50 000 экз. Зак. № 1154.
Цена 60 к.

Издательство «Известия Советов народных депутатов
СССР». 103791, Москва, Пушкинская пл., 5.

Можайский полиграфкомбинат Союзполиграфпрома при
Государственном комитете СССР по делам издательств,
полиграфии и книжной торговли. 143200, Можайск,
ул. Мира, 93.



Али Окля Орсан

(родился в 1940 году) — генеральный секретарь Всеарабского Союза писателей и литераторов, председатель Союза писателей Сирии, получил известность в арабских странах прежде всего как драматург и критик. Он автор восьми пьес, нескольких исследований по истории и теории театра. По сценариям Али Окля Орсана сняты телевизионные и художественные фильмы. Регулярно публикуется с 1971 года. Писатель-реалист, Али Окля Орсан стремится поднять в своих произведениях острые проблемы, волнующие сирийский и другие арабские народы, борющиеся за установление справедливого мира на Ближнем Востоке. "Голанские высоты" — первая повесть писателя. Творческий труд Али Окля Орсана сочетает с большой общественной деятельностью: он заместитель генерального секретаря Ассоциации писателей стран Азии и Африки, главный редактор четырех важнейших литературных журналов Сирии: "Литературное обозрение", "Иностранная литература", "Арабское культурное наследие" и "Арабский писатель".